И. А. ТЕОДОРОВИЧ

О ГОРЬКОМ И ЧЕХОВЕ



1930

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. А. ТЕОДОРОВИЧ

О ГОРЬКОМ И ЧЕХОВЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

Т 30

Главлит № А 72.122. Х 50 Гиз 39717 Зак. 2082 2 ½ п. л. Тир. 3000

„Мосполиграф“ 13-я типо-цинкография, Москва, Петровка, 17.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Доклад о Горьком в несколько сокращенном виде был напечатан мною в № 6 «Большевика» за 1928 год. В настоящем издании он перепечатывается полностью.

Этюд о Чехове написан осенью 1928 года и напечатан в качестве вступительной статьи к VIII тому собрания сочинений Чехова, изданному ГИЗ'ом (приложение к «Огоньку»).

Эти две работы связаны единством метода. Вместе с позднее вышедшей книгой автора «Историческое значение партии Народной Воли» они являются попыткой использовать главнейшие идеи и выводы экономической истории для истолкования фактов нашего литературного и революционного прошлого.

Ив. Теодорович.

31 мая 1930 года.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО МАКСИМА ГОРЬКОГО [1]

Товарищи! Если считать началом нового года, как это принято в хозяйственной жизни Советской России, 1 октября, то в наступившем 1927/28 году мы имеем возможность отметить три юбилейных даты, которые связаны с биографией Алексея Максимовича Горького-Пешкова.

В первом квартале исполнилось 35 лет со времени, когда в тифлисской газете «Кавказ» появился первый рассказ Горького — «Макар Чудра»; во втором квартале, 29 марта, исполняется 60 лет со дня рождения Горького (дата, ныне уже точно установленная) и, наконец, тогда же истекает 40 лет с того печального момента, когда Горький пытался покончить жизнь самоубийством, печального, но закончившегося благополучно, ибо судьба сохранила нам великого писателя, залечив его простреленное легкое.

Прожить 60 лет, прожить их в эпоху, когда вся жизнь развивалась и видоизменялась необычайно быстро и бурно, разумеется, нельзя без того, чтобы самому не проделать определенных этапов, определенных курсов и зигзагов в своей деятельности, в своем развитии. Конечно нельзя говорить об едином Горьком: в сущности есть ряд Горьких, которые менялись во времени и пространстве на протяжении этого бурного периода. Конечно вся-

[1] Доклад, прочитанный на собрании Общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев.

кий значительный человек имеет различные отрезки в кривой своего развития, но невольно в этот момент вспоминаются два человека. Сопоставьте Ленина и Горького, и каждый из вас сразу скажет: в то время как этапы роста Ленина были этапами планомерного развития по неуклонно восходящей кривой, этого нельзя сказать про Алексея Максимовича; его этапы были очень часто загзагами, колебаниями, иногда неожиданными и жестоко смущавшими наблюдателей. Впрочем нужно сразу же подчеркнуть, что неожиданными они казались лишь тому, кто не понял сущности нашего писателя. На самом же деле эти колебания были совершенно закономерными, ибо колебания и зигзаги Горького не были по сути вещей только его индивидуальным свойством; нет, это были колебания того общественного слоя, выразителем которого всегда, а зачастую и прямым идеологом, являлся А. М. Горький.

Было бы совершенно неверным утверждать, да и ни один из крупных знатоков истории литературы этого не утверждает, будто творчество Горького следует считать идеологией пролетариата. И Ленин, и Плеханов, а из пишущих в наше время Горбачев, Назаренко, Львов-Рогачевский, Р. Григорьев и др. не считают творчество Горького отражением в художественной сфере пролетарской сущности. Исключением, пожалуй, можно считать т. Евгеньева-Максимова, который за последнее время стал примыкать к коммунистической критике: он считает Горького «подлинным пролетарием» в жизни и подлинным выразителем пролетариата в художественной работе. Но это одинокое мнение, характерное, пожалуй, для неофитов, которые всегда «более роялисты, чем сам король». Марксисты же не считали и не считают Горького подлинным выразителем психологии и идеологии пролетариата. Но если это так, то возникают два вопроса: во-первых, какого же общественного

класса выразителем и идеологом был Горький, а во-вторых, почему же мы, стоящие под знаменем пролетариата, сегодня с чистой душой и с полным основанием чествуем великую работу Горького?

На первый вопрос надо ответить так: общественным классом, общественным слоем, выразителем и идеологом которого был Горький, является в широком смысле слова мелкий самостоятельный товаропроизводитель, — тот слой, который беспощадно разрушается в процессе развития капитализма. Этот мелкий товаропроизводитель, трагически гибнущий под ударами капиталистической эксплоатации, представлен определенными группами крестьянства, определенными слоями кустарей и ремесленников, городским мещанством, мелкой трудовой интеллигенцией и т. д. Это широкий общественный слой, психологию, историю и экономику которого, к сожалению, чрезвычайно мало изучают профессиональные критики, историки литературы, отрезая тем самым себе путь к правильному истолкованию таких литературных явлений, как творчество «Буревестника» Горького у нас, «Железного жаворонка» Гервега в Германии 40-х годов и т. д.

Отто Бауэр, когда-то ортодоксальный марксист, которого за это очень ценил Ленин, дал, исходя из основ марксизма, точную формулировку известной эпохи в истории человечества; она сводится в сущности к математической формуле: непрерывное увеличение роли C, т. е. постоянного капитала, техники, мертвого труда, застывшего в машинах и т. д., и постоянное уменьшение V, т. е. переменного капитала, живого труда. Если взять единицу продукции, то в ней постоянно возрастает доля C и все уменьшается доля V. Вот формула истории человечества, вот глубоко верное обобщение, данное марксизмом.

Если бы историки литературы когда-нибудь заглядывали в курс политической экономии, если

бы они усвоили это положение, они гораздо вернее, гораздо тоньше и конкретнее об'ясняли бы нам литературные явления, их смену и развитие; между прочим, убедительнее истолковали бы нам Горького, его роль и значение. В самом деле, что означает этот рост С и уменьшение V? В частности они означают рост числа профессий, рост общественного и технического разделения труда. Один экономист метко сказал: «Дайте мне цифру числа профессий, и я определю вам всю экономику и стадию развития данного общества». В самом деле, вспомните, как из малого числа профессий, например, работников по коже, выросло к настоящему моменту гигантское их количество. Но чем более дробной и специальной делается какая-нибудь профессия, тем более способной к машинизации она становится, и товаропроизводитель, ею занятый, начинает диференцироваться уже в другой плоскости, — а именно, в плоскости социальной, — на тех, кто имеет средства купить вновь вводимые машины, и на тех, кто владеет только руками.

Таким образом по мере развития капиталистического способа производства исчезает недиференцированный товаропроизводитель, исчезает такое общество, про которое Маркс говорил, что оно напоминает ему мешок с картофелем, где каждая картофелина похожа на другую. Рост капиталистического развития означает, с одной стороны, рост разделения труда, все большее расчленение, диференцирование по профессиям этой серой массы товаропроизводителей, а с другой стороны — все увеличивающуюся социальную деференциацию, с владельцами вводимых машин на одном полюсе, и пролетариатом — на другом.

Эта гибнущая под ударами капиталистической стихии масса мелких товаропроизводителей очень часто представляет в истории человечества карти-

ну бешеной борьбы за существование: она не всегда сдается без боя, со стоном на устах и проклятием или всепрощением в сердце. Нередко она порождает глубокое революционное движение. Если брать все ее движения в целом, то можно различить три крыла: прежде всего — революционное, «левое» крыло. Оно, например, проявилось в агитации Жака Ру, в заговоре Бабефа, в дальнейшей работе бланкистов; без труда можно доказать, что наши недавние союзники, левые эсеры, были представителями этого крыла. Это крыло гибнущего товаропроизводителя имеет громадные заслуги в истории. Вспомните, что Бабеф, один из выразителей этого крыла, был первым, кто провозгласил необходимость завоевания, захвата политической власти, чтобы бороться за экономические интересы дорогого ему слоя. Вспомните, что пролетарский социализм Маркса, тоже провозгласивший идею необходимости завоевать политическую власть для того, чтобы иметь возможность взрастить свою экономику, это наследие получил из рук левого крыла мелкого товаропроизводителя. Вот почему Маркс так ценил Бабефа, так поддерживал народовольцев, так благоговел перед Парижской коммуной, которой ведь руководили бланкисты и прудонисты, а отнюдь не марксисты.

Чего же добивается это левое крыло? Оно хочет «немедленно задушить капитализм», как говорили когда-то народовольцы, «в самом зародыше» и вернуться к старому «народному производству»; тогда-то свободный товаропроизводитель методом производительных ассоциаций осуществит в своей экономике формулу великой французской революции: «свобода, равенство и братство», т. е. в сущности свободу в производстве, равенство в условиях конкуренции и братство в процессе обмена на рынке. Вот та формула, которую провозглашало в тех или иных вариациях левое крыло.

Но было и «правое» крыло. Оно тоже ненавидело капитализм, оно также кричало о том, что надо положить немедленный конец росту капитализма, но намечало иные пути борьбы. Не веря в успех революции, особенно после поражения последней, оно мечтало о «патриотизме господствующих классов», об их совести и справедливости. Например Роберт Оуэн, один из представителей правого крыла товаропроизводителей, пытался влиять на монархов, феодалов и буржуазию.

Было и третье крыло — «центр», полемизировавший и против правого и против левого крыльев. К нему нужно отнести в частности прудонистов и бакунистов. Они настаивали на том, что захват политической власти так же не решит проблемы «свободы, равенства и братства», как и обращение к патриотизму господствующих классов. Надо, по их учению, ставить ставку на самодеятельность, на самопомощь, на кооперирование мелких товаропроизводителей: пусть об'единятся, и они преодолеют это чудовище, это проклятие — капитализм!

Чем больше был разорен товаропроизводитель, чем безнадежнее было его положение в рамках капитализма, тем активнее, решительнее и бешенее выступает идеология этой особенно разоряемой части товаропроизводителей — левое крыло.

Наоборот, если у того или иного слоя были шансы удержаться, приспособиться к капиталистической экономике, тем умереннее выступал он, поддерживая идеологию центра или даже правого крыла. Надо к тому же всегда помнить, что процесс развития капитализма протекает в рамках чрезвычайно быстрого изменения и колебания кон'юнктуры. Его нужно всегда рассматривать диалектически. Для примера возьмем крестьянина. Вот данная группа крестьян приспособилась к капитализму, имеет хорошие цены и начинает вы-

годно снабжать своими продуктами город; у нее сейчас же появляются компромиссные оппортунистические настроения, желание коалиции с капиталистической идеологией. Вспомним русскую абрамовщину, выразительницу настроений правого крыла товаропроизводителя, появившуюся в результате, с одной стороны, разгрома левого крыла (народовольчества), а с другой — успехов капитализации России, и в частности, ее сельского хозяйства, со второй половины восьмидесятых годов. Но это непрочно. Новый этап капитализма, иногда на протяжении одного лишь десятка лет, вновь ударяет по этому мелкому производителю, и он опять попадает в тяжелое положение, гибнет и опять появляется его отчаяние и озлобленность.

Если история человечества в известный период представляет собой рост C и уменьшение V, рост профессий и разделения труда, то это означает, что капитализм, постоянно перестраивая базу основного капитала, имеет возможность использовать то или иное количество разоряемого товаропроизводителя у себя в производстве. Одна часть его уходит в пролетариат и ассимилируется с ним, другая — устраивается в порах капитализма в качестве новой мелкой буржуазии, которая уже не отбрасывается в сторону лагеря, все же революционного, хотя и непролетарского, а заговорщицки-бабувистского типа.

В этом процессе временного приспособления тех или иных слоев товаропроизводителя к капитализму нужно особо помнить один важнейший момент. Когда мелкий товаропроизводитель начинает чувствовать, что в качестве крестьянина, сапожника, красильщика или обойщика он не может удержаться на поверхности хозяйственной жизни, он торопится, так сказать, застраховать своих детей: он уже не подготавливает их к занятию своей профессией, а толкает их в школу, чтобы провести затем в лагерь интеллигенции. В основном

и целом интеллигенция по своему происхождению на огромный процент идет из этого слоя разоряющегося или чувствующего непрочность своего заработка производителя. Эта интеллигенция используется затем капитализмом для обслуживания целого ряда созданных им новых профессий. Нам нужно запомнить, что интеллигенция, таким образом, по своему прошлому — плоть от плоти, кость от кости прежнего товаропроизводителя, а по своему настоящему — орудие в руках капитализма по извлечению из трудящихся прибавочной стоимости. Такой двойственностью можно целиком об'яснить широко всем известный факт постоянных колебаний этого слоя.

История русской революционной борьбы может быть ясно понята лишь в свете только что нами установленных положений.

Возьмите народовольцев. Как установили Маркс и Ленин, они были в своем большинстве выразителями этого беспощадно разоряемого мелкого производителя. Главная ставка народовольцев была не на пролетариат, а на тех производителей, кого они называли трудовым крестьянством и трудовым кустарем. Движение народовольцев, до чрезвычайности по идеологии похожее, например, на бабувистское, так же, как последнее, было разгромлено, разбито. Возникает вопрос, почему? Только поверхностный человек сказал бы, что оно было разбито потому, что сила правительственноой репрессии одолела своих противников. Нет, основная причина была в том, что капитализм стал переживать новую кон'юнктуру, которая породила у крестьянства иллюзию, ошибочную веру в то, будто они могут устроиться и в рамках капитализма, что они получат землю от крупных помещиков в итоге мирной реформы, так как последние бросают свои поля, вследствие заокеанской конкуренции, убивающей возможность безубыточного экспорта русского зерна. Эта кон'-

юнктура, этот поворот капитализма решил судьбу «Народной Воли»: она погибла! Теперь началось выплывание на поверхность, на первый план не левого, а правого крыла (абрамовщины). Вы знаете, что Абрамов в журнале «Неделя» выступил с защитой формулы, что наше-де время — не время широких задач, что нам, конечно, нужна интеллигенция, но не агитаторы, не революционеры, а интеллигенция другая. Дайте мужику хорошего ветеринара, врача, учителя, агронома, — вот эту интеллигенцию мы приемлем, но интеллигенцию революционную, с бомбами и прокламациями, мы осуждаем. Эти же мысли еще раньше развивал, по недоразумению до сих пор считающийся революционным народником, Энгельгардт; на страницах левых «Отечественных Записок», а позднее устами своего сына в «Неделе» он повторял: нам нужны агрономы, лесоводы, ветеринары, животноводы, а не политиканы. Но какой же слой мужиков хватался за эту интеллигенцию? Именно тот, который видел и чувствовал, что можно еще устроиться, приспособиться к капитализму.

Затем мы находим толстовщину. Она чрезвычайно типична. Совершенно правы те, которые определяют Толстого, как мирного анархиста. После катастрофы 1881 г., когда левое крыло потерпело поражение, после того, как абрамовщина докатилась до гнусного пресмыкательства перед царизмом, помещиком и буржуазией, Толстой был воистину крупнейшим из тех немногих, кто продолжал традицию обличения капитализма. Но представитель правого «центра», он не звал к вооруженной борьбе; он сосредоточил свое внимание на пропаганде самоусовершенствования и самодеятельности. Итак мы ясно видим существование трех крыльев — левого, только что разгромленного народовольчества, правого — абрамовщины и центра — толстовщины. Мне пришлось несколько остановиться на этих предпосылках из

истории нашей экономической и политической жизни, чтобы установить с вами общий язык, чтобы в дело характеристики основных моментов творчества Максима Горького внести максимум об'ективности и, таким образом, постараться дать максимум бесспорных оценок.

В девяностых годах XIX века совершился новый поворот в экономической кон'юнктуре. Он заключался в том, что именно в эти годы темп развития русского капитализма стал особенно быстрым и напряженным. Но бешеное развитие русского капитализма влекло за собой два последствия: с одной стороны, определенная и абсолютно даже растущая часть мелкого товаропроизводителя, согласно тем схемам, которые я характеризовал перед вами, приспособлялась к капитализму, но в то же время, параллельно, и абсолютно и относительно, все большая часть мелкого товаропроизводителя разорялась и гибла. Этот процесс создавал новое деление общества; он создавал буржуазию и пролетариат, который выдвинулся на арену политической борьбы, пророча свою будущую победу.

Далее, хотя и продолжали существовать причины для тех настроений, которые в свое время произвели на свет абрамовщину и толстовщину, но перед лицом нового борца — пролетариата, в свете его неслыханного энтузиазма и веры в победу — опять из трех крыльев мелкого товаропроизводителя выдвинулось на первый план л е в о е крыло с его бунтарско-революционными переживаниями. Больше того, абрамовщина и толстовщина не только стушевались перед пролетарским и своим собственным левым крылом, но и в значительной степени модифицировались сами: мирный анархизм Толстого — в анархизм воинствующий, а абрамовщина — в те или иные формы руского либерализма, как известно, традиционно связанного с крайне правым народ-

ничеством, причем и либерализм и крайне правое народничество, приемля капитализм на русской почве, хотели тоже вступить в борьбу за его «упорядочение», за искоренение в том или ином об'еме азиатских форм капитализма.

В такой именно период русской политической и экономической жизни и выступил на сцену Максим Горький. В первую полосу своей литературной деятельности он с особой силой отразил идеологию и настроения вновь просыпающегося к жизни левого крыла мелкого товаропроизводителя. Что это так, — в этом не может быть никаких сомнений. Все критики и историки литературы единогласно характеризуют Горького в первый период его работы, как романтика и индивидуалиста. Но они не могут удовлетворительно об'яснить, откуда у Горького этот индивидуализм. Одни, например, Львов-Рогачевский, говорят, что он подпал под влияние Ницше, что это дань ницшеанству. Другие, например, Горбачев, находят, что индивидуализм и символизм общи и Горькому и группе Брюсова, Бальмонта, Блока и пр. Конечно между Горьким и группой символистов есть нечто общее, но не в том совсем, в чем это находит Горбачев.

А между тем вопрос становится совершенно ясным, если мы установим, что индивидуализм Горького — индивидуализм не его личный, а индивидуализм того самого мелкого самостоятельного товаропроизводителя, который индивидуалистичен по самому своему положению в процессе производства. Как самостоятельный производитель, он хочет создания таких условий, при которых его самостоятельное производство находилось бы в одинаковых, совершенно равных политических и экономических условиях с его конкурентами и контрагентами. Равенство в конкуренции и свобода в хозяйственной деятельности — два его идола, два основных камня в фундаменте его индивидуализма.

Дальше. Давно всеми признано и установлено, что смешно видеть в босяках Горького этнографические, бытовые черты. Нет, для Горького босяк был только символом ненависти к мещанству, ненависти к сытой, тупой, застойной жизни, и поэтому все его герои уходят, бегут от этого мещанства. Но тут позвольте мне подчеркнуть чрезвычайно характерный штрих, кажется, не отмеченный ни одним историкам литературы. Вы не найдете у Горького ни одного такого босяка, который бы находился в прямой борьбе или по крайности звал на прямую борьбу с мещанством. Вот например, один из его героев — Гришка Орлов — говорит: взять бы, составить бы ватагу, да перерезать бы жидов. Другой его герой — Коновалов — тоже твердит: бы, бы, бы, т. е. мы находимся в области мечтаний, неясных туманных мечтаний о борьбе, а не в ее ходе и разгаре или подготовке. Мелкий производитель, задавленный мещанством, уже бегущий от него, уже ненавидящий его, не дошел еще до такой степени каления, как скажем, он дошел во время заговора Бабефа: он только не приемлет капитализма, не приемлет мещанства. А мы знаем, что класс, обездоленный в жизни, но не решающийся еще вступить в прямую борьбу за место под солнцем, склонен в области художественного творчества к романтизму, к мечте о другой жизни: «я хочу того, чего не бывает; чего не бывает, того я хочу»... Этого достаточно, чтоб понять происхождение корней романтизма в творчестве Горького.

Когда-то Маркс говорил про Германию 40-х гг., что она страдает не только от развития капитализма, но и от недостаточности этого развития. Слова Маркса имеют глубочайшее познавательное значение: мысль в них заложенная, облегчает анализ определенной действительности, в частности российской действительности 80-х и 90-х гг. Приложив формулу Маркса к России, Ленин устано-

вил, что недостаточность ее капиталистического развития привела к широкой распространенности в ней отсталых, «азиатских», как выражался Ленин, форм капитализма. Вместо фермера — кулак, вместо цивилизованного купца — торгаш Колупаев или Разуваев, вместо фабрики или завода с высокой техникой — мелкое предприятие, словом, вместо присвоения прибавочного труда — преимущественно налицо грубый захват прибавочного продукта. Такие азиатские формы капитализма способствовали сохранению засилья дворянской ренты и политического господства помещичьего класса с самодержавным царем во главе.

Само собой разумеется, что можно быть сторонником капиталистической экономики и в то же время горячо протестовать против «азиатских» форм капитализма. Такие люди стоят за так называемый «упорядоченный капитализм».

Упорядоченный капитализм в законченном виде предполагает полное отсутствие так называемого «внеэкономического принуждения»: это капитализм с демократической республикой, равноправием всех сословий, национализацией земли, охраной труда и т. д. В полном своем виде он не реализован нигде в действительности, — это скорее всего «типологическое» построение, но оно ложится в основу программ целого ряда либеральных и демократических партий. При господстве упорядоченного капитализма распределение национального дохода происходит путем чистой экономической борьбы, без вмешательства политического и правового факторов, которые, наоборот, чрезвычайно энергично действуют в рамках азиатского капитализма. Можно считать стоящим вне спора тот факт, что так называемые декаденты и символисты конца XIX и начала XX века в основе своего творчества были вдохновляемы и направляемы жаждой насаждения в России упорядоченного капитализма и ненавистью к мещан-

ской разуваевско-колупаевской стихии. Эта школа быстро выдвинулась в первые ряды русской литературы.

Каково же было отношение к ней Горького?

Мы уже видели, что в первый период своей литературной деятельности («босячество») Горький выступил с апологией, с одной стороны, крайнего индивидуализма, а, с другой стороны, с утверждением романтизма, как такой художественной школы, которая не приемлет действительности (в самом деле, не мог же Горький «приять» наш азиатский капитализм!), а «творит легенду» о новой жизни и новых людях. Теперь мы можем прибавить третий штрих, характеризующий тогдашнее творчество Горького — это момент призыва к борьбе, к разрушению старого. Какие общественные слои, какие группы давали нам в то время что-либо подобное? Конечно, Бальмонт, Брюсов и другие символисты, которые, — скажем забегая вперед, — в большинстве своем оказались впоследствии в лагере кадетизма, тоже проповедывали индивидуализм и романтизм, но были ли они революционерами? Если называть революционным такое течение, которое хочет низвергнуть капитализм во имя социализма, то, конечно, символисты не были революционерами; но если иметь в виду, что их направление хотело искоренения азиатских форм капитализма ради утверждения упорядоченного капитализма, то в известном, строго условном, смысле оно может быть названо революционным.

Что же сближало символистов с Горьким? Не надо забывать, что в первом периоде своей деятельности Горький не утвердился еще окончательно на идее социализма. Еще по целому ряду признаков можно видеть, что он колеблется между двумя путями: взять ли курс на упорядоченный капитализм или взять курс на социализм. Уже этот факт показывает, что Горький отражал сти-

хию мелкого товаропроизводителя, ибо мелкий товаропроизводитель на протяжении всей своей истории колеблется между пролетариатом и буржуазией. Все дело в том, кто его поведет.

В капиталистическом обществе, идя за буржуазией, когда этому способствует кон'юнктура, он в своих верхних слоях превращается в ряд мелкобуржуазных групп; если же его поведет пролетариат, он, хотя бы в арьергарде, но борется за осуществление социалистического строя. Промежуточный слой, — он имеет и промежуточные настроения. «Божество равенства» тянет его в лагерь пролетариата, а «божество свободы» — в стан буржуазии. Горький, в период босячества, ясно и целиком отражал идеологию этого промежуточного слоя уже бунтарского, уже оправившегося после поражения своих старших братьев, но еще не решившего окончательно вопроса о своей ориентации: — социализм хотя бы через этап упорядоченного капитализма или только упорядоченный капитализм? До какой же черты? С кем?

Если вы вспомните историю 90-х, даже, пожалуй, уже конца 80-х годов, то вы заметите одно чрезвычайно интересное явление. Его можно характеризовать так: идет процесс эмансипации определенных общественных групп от гегемонии народничества. Вспомните, что 60-ые и 70-ые и отчасти 80-ые годы, если взять их легальную и нелегальную журналистику и беллетристику, характеризуются непоколебимой гегемонией народничества со всеми его символами веры: художественный реализм против романтизма, хотя бы левого; «учительная», тенденциозная литература — против «искусства для искусства»; против идеализма — материализм либо позитивизм; против религии и мистики — наука и т. д. и т. п. Может показаться странным, почему народничество в общем стоит за художественный реализм, а не за романтизм. Разве оно «приемлет» действитель-

ность? Но надо вспомнить, что Михайловский говорит: «в России социализм — вопрос консервативный», т. е. России в первую голову надо сохранить общину. И вот эту-то действительность с общиной и артелью, с народным производством, народничеству нельзя было не «приять», и отсюда его симпатии к школе художественного реализма, хотя нельзя и отрицать существования уклонов в сторону романтизма (Златовратский и др.).

Но вот стали появляться иные люди. Начиная с Акима Волынского, продолжая декадентством, они принесли по закону классовой противоположности новые скрижали: долой позитивизм и материализм, долой реализм, долой тенденциозную литературу, долой монополию науки, да здравствуют иные «ключи» для открытия «тайн». (Вспомните брюсовские «Ключи тайн»)...

Это в области идеологии выступали на русскую арену первые отряды буржуазии, окрепшей к этому времени. Они расшатывали устои народничества, чтобы вырвать из-под его влияния народные массы и попытаться повести их за собой. Позднее все эти группы политически оформились в кадетский либерализм.

Что сближало Горького с этими группами? Его сближало в этот момент следующее обстоятельство: хотя он и был идеологом мелкого товаропроизводителя, но, главным образом, городского; деревню в то время он ненавидел, он называл ее детей «темной обнищалой деревенщиной». Возьмите рассказ «Челкаш», где все симпатии Горького на стороне вора Челкаша, а мужик Гаврила антипатичен Горькому. В знаменитом рассказе «Вывод» он тоже самым решительным образом настроен против деревни. Нетрудно об'яснить это распределение симпатий у Горького. Исторически известно, что на известной стадии капитализм легче приспособляет к себе деревенскую мелкую буржуазию (высокими ценами на с.-х. про-

дукты, ростом ренты и т. д.), чем городского товаропроизводителя. Говоря о деревне, Горький в тот период видел прежде всего эту мелкую и мельчайшую буржуазию, а не сельского паупера, которого он заметил много позднее. Таким образом мы видим, что еще один момент, — а именно, урбанизм, — сближает Горького с символистами и отводит его в сторону от народничества.

Итак для первого периода творчества Горького в высшей степени характерна эта черта — призыв к борьбе. Здесь он определенно опережает тот слой, от имени которого говорит. Этот слой еще не раскачался, а «буревестник» уже на посту. Бороться ли за упорядоченный капитализм или за социализм, еще не ясно, но только прочь от мещанства, прочь от этой атмосферы затхлого азиатского капитализма, который полностью проявляет свои отрицательные стороны, не являя ни одной из тех положительных черт, какие можно констатировать на стадии упорядоченного капитализма. Страдания мелкого товарного производителя особенно сильны именно в эту эпоху господства азиатских форм. Но, призывая к борьбе, Горький в то же время понимает, что представляемый им слой не может бороться один, без союзников.

Вот здесь именно мы и переходим ко второму этапу деятельности Горького. Он уже, видимо, задумывается, над тем, что та группа, которая была в то время к нему близка, символисты, представляют собой и отражают в литературе такой слой, который может предать дело борьбы. Как бы ни были малы цели этого слоя, — упорядоченный капитализм, — то даже в пределах этой цели можно быть последовательным и непоколебимым до конца, но можно пойти на тот или иной компромисс со средневековой азиатчиной. Непоследовательность, соглашательство русского либерализма открывают глаза Горькому. Он теперь как бы ста-

вит такую проблему: если мелкий товаропроизводитель колеблется между буржуазией и пролетариатом, то надо пойти посмотреть, изучить, чего же хотят та и другой, насколько надежен тот или другой союзник. Горький так и поступает. Именно примерно с 1901 г. он бросает своих босяков и идет в другие социальные пласты. Подобно Эмилю Золя, для которого искусство было средством решения определенных научных проблем, он откровенно и заранее ставит своему художественному творчеству известные задачи. Публицист становится рядом с художником. Горький пишет такие вещи, как «Фома Гордеев» и «Трое» и др., из которых и делает вывод, что буржуазия не спасет, предаст, что она неверный, ненадежный союзник, что она не доведет борьбы даже до упорядоченного капитализма.

Но если ненадежна буржуазия, — то не спасет ли интеллигенция: ведь она плоть от плоти этого мелкого разоряющегося товаропроизводителя? Но Горький приходит к выводу, что и она не спасет. Возьмите его драмы: «Мещане», «Дачники», «Дети солнца». Эти драмы можно разбить на две группы. И в той, и в другой изображается интеллигенция гнилая, далекая от социальной борьбы, забывшая и предавшая своих отцов и братьев из рядов мелких товаропроизводителей, но в одних драмах автор рисует интеллигенцию, которая все же стремится к каким-то духовным ценностям — науке, искуссству (напр., Протасов из «Детей солнца»); в других — изображены те, кто целиком тянется только за дешевеньким мещанским благополучием. Это «Дачники», «Мещане». Горький приходит к выводу, что как те, так и другие, с духовными ценностями и без них — одинаково омерзительны и отвратительны. Когда то Глеб Успенский сказал, что буржуазия — это акула. Но, — добавил он, — эта акула никого бы не проглотила, если б в ее пасти не было «острых двух-

двугривенных зубов», которые и помогают акуле хватать и заглатывать добычу. Интеллигенция, — сказал Успенский, — это и есть «двухдвугривенные зубы». Успенский прав: экономическая роль интеллигенции и состоит в том, что она помогает буржуазии организовать аппарат по выкачиванию из рабочего прибавочной стоимости. Усвоив этот факт из политической экономии, Горький переложил его на язык художественных образов. Он констатировал, что интеллигенция, получая от буржуазии или ее государства изрядные блага за организацию выкачки прибавочной стоимости, в силу такого своего положения в процессе производства должна была отвернуться от своих отцов и братьев, бросив их в ту минуту, когда они так нуждались в руководителях и союзниках, ввиду начинающейся новой полосы борьбы.

Констатировав эту измену поэт заключил: «ненавижу, презираю, проклинаю». Я тут же попрошу вас запомнить, что такой уничтожающий приговор интеллигенции произнес тот самый автор, который через каких-нибудь 12—15 лет обзовет гуннами, варварами, злодеями тех, кто, по его мнению, в 1917 г. начнет уничтожать «красоту нашей жизни» — интеллигенцию. Так «колебнулся» Горький от проклятия к благословению. Но ко времени первой русской революции у Горького складывалось убеждение в том, что ни на буржуазию, ни на интеллигенцию нельзя рассчитывать, как на союзников.

Казалось бы, что, отвернувшись от буржуазии и интеллигенции, Горький должен был бы обратиться к изображению пролетариата, его борьбы, настроений и переживаний, тем более, что лично Горький уже с 1901 года был очень близок к социал-демократической партии, будучи ее членом. Но интересно, что к изображению пролетарского движения он обратился тогда, когда оно уже в сущности было разгромлено. В самом деле, его

«Мать» писалась и печаталась уже в 1907 г. А это произведение было первым, вплотную подошедшим к изображению рабочих и их движения. Почему такое запоздание? Не потому ли, что понадобился опыт 1905—1907 гг., касающийся позиции российского либерализма, чтобы окончательно подтвердить самые худшие ожидания Горького от буржуазии и ее интеллигенции. В своей статье «Разрушение личности», написанной в 1908 г., наш автор с огромной горечью писал: «Политические эволюции г. Струве невольно заставляют вспомнить «эволюцию Льва Тихомирова». Теперь мы знаем, что оба эти ренегата кончили одинаково — полной капитуляцией перед монархизмом и азиатски-квасным патриотизмом.

Горький — надо отдать ему справедливость — предвидел и предчувствовал всю гнусность этой эволюции, и ему оставалось теперь, как художнику, обратиться к пролетариату. Но надо признаться, что здесь он не имел художественного успеха. Как бы ни был велик тираж «Матери», как бы ни любили этот роман читатели из европейского и американского рабочего класса, приходится согласиться с большинством критиков, что Горький, как художник, не справился со своей задачей. Он дал иконопись, а не художественное произведение.

Плеханов высказал это со свойственной ему резкостью: «Неудачны те произведения Горького, в которых силен публицистический элемент, например, очерки американской жизни и роман «Мать». Очень плохую услугу оказывают ему люди, побуждающие его выступать в ролях мыслителя и проповедника; он не создан для таких ролей». Плеханов находил, что Горький «сам крайне плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат... Если бы он хорошо переварил названную истину — то его американские очерки были бы написаны в другом духе: «их

автор не выступал бы перед нами в виде народника, проклинающего пришествие капитализма».

Нельзя согласиться с Плехановым, будто все горе Горького заключается в том, что он не усвоил марксизма как теории. Плеханов очень часто грешил рационалистической постановкой вопроса Вспомните хотя бы его суждения о Чернышевском, по которым выходило, что воззрения Чернышевского определялись не интересами и идеологией той социальной группы, к которой он принадлежал, а незнакомством с той или иной книгой. Ту же ошибку Плеханов делает и по отношению к Горькому. Но в одном он безусловно прав: чрезвычайно тонко его указание на то, что Горький выступает «в виде народника», громящего капитализм. Для тех, кому ясно, что Горький — выразитель настроений разоряемого капитализмом и бешено его ненавидящего мелкого товаропроизводителя, — брошенное мимоходом замечание Плеханова свидетельствует о его громадном чутье. Неудача «Матери» и американских очерков должна быть об'яснена тем, что Горький, превосходно знакомый с психологией промежуточных слоев и близкий им по духу, был чужд типично рабочей среде, не знал и не понимал ее. И если все же известные слои пролетариата ценят «Мать», то это естественно в той мере, в какой не все пролетарии порвали ту пуповину, которая связывает их со средой, их породившей.

Вскоре после своей эпопеи «Мать» Горький пишет «Исповедь» (1908 г.), вещь, за которую его жестоко и беспощадно раскритиковал Плеханов, напавши на «богосочинительство» нашего автора. Несколько позднее Ленин писал Горькому, обсуждая ту же тему: «Выходит, что вы против богоискательства только ради замены его богостроительством... Богоискательство отличается от богостроительства, или богосозидательства или

боготворчества и т. п. не больше, чем желтый чорт отличается от чорта синего... Всякий боженька есть трупроложество»...

Характерно, что действующими лицами «Исповеди» являются не чистокровные пролетарии, а мелкие товаропроизводители: плотники, маляры и т. д. Они очень склонны выслушивать богостроительные проповеди, а вот представитель подлинного пролетариата заводский слесарь Петр Ягих говорит племяннику: «ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей».

Вспомните, что после разгрома «Народной Воли» известные слои мелкого товаропроизводителя выдвинули такие религиозные течения, как толстовство. Разгром 1906—1908 гг. вызвал в известных рядах расширенное воспроизводство религиозных настроений. Стоит ли говорить, до какой степени это типично для мелкого товаропроизводителя? В его глазах действительность дала ужасающие итоги: буржуазия изменила, интеллигенция тоже, пролетариат оказался слабым. На что надеяться, на что положиться? Это была полоса страшной растерянности, распада общественных связей. И вот, Горький провозглашает устами своего старца Ионы: «богостроитель это суть *народушко*! Неисчислимый, мировой народ... *Он есть начало жизни, единое и несомненное*». Но что же такое бог, что надо строить? И Горький отвечает: «Бог есть комплекс тех выработанных племенем, нацией, человечеством идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, *обуздать зоологический индивидуализм*».

Итак заметим, что глашатай индивидуализма в первый период своего творчества — Горький — в эту эпоху поднимает голос за обуздание индивидуализма (пусть он называет его зоологиче-

ским, это не введет нас в заблуждение). Вот диапазон колебаний мелкого товаропроизводителя. Верящий в свои силы и свою победу, он поет осанну своему индивидуализму. Оставленный, преданный буржуазией и интеллигенцией, не доведенный до победы слабым пролетариатом — он сразу с'еживается и осуждает собственное «я». Кроме того он, высказывавший свое презрение «темной обнищалой деревне» ставит теперь последнюю ставку на своего деревенского собрата.

В повести «Лето» Горький изображает пропагандиста, который ушел в деревню для политической работы. По свидетельству Горького, этот революционер имел среди крестьян колоссальный успех. Итак свет—из деревни, с ее помощью придет победа. Может показаться, что этот вывод не что иное, как типичное ленинское положение. По крайней мере в такую ошибку впал, когда-то (в 1909 г.) тов. Луначарский. Он писал: «Отнюдь не примыкая к мутной путанице эсерства, мы можем и должны стоять на той точке зрения, что влияние пролетариата на народные массы не пустой звук, а явление первейшей важности. Его-то и изображает Горький в «Исповеди». Но дело как раз в том, что прав не Луначарский, а выше цитированный слесарь Ягих: дело у Горького — не в просветляющем влиянии рабочего класса на широкие массы промежуточных слоев, а в растворении пролетариата в «народушке».

Пролетариат по тогдашним настроениям Горького, как художника, не являлся еще гарантией победы. Недаром много позднее, в 1917 г. Горький, вспоминая первую революцию, сказал: «Момент требует величайшей осторожности в решениях... Нам не нужно забывать роковых ошибок 1905/1906 гг.». По чьему адресу сказаны эти жестокие и несправедливые слова? Не по адресу кадетов и меньшевиков, ибо им нечего было бы напоминать о «величайшей осторожности». Злое

слово вырвалось по адресу тех, кто, увлеченный пылом борьбы, пал не вследствие мнимых ошибок, а исключительно из-за недостатка собственных сил, да еще из-за колебаний и измены других.

Обращение к богостроительскому опиуму было крайне типичным для того общественного слоя, выразителем которого является Горький. Когда-то Тургенев сказал, что некоторые люди бывают охвачены «экстазом», но «это экстаз, свойственный всем скептикам, которым скептицизм надоел». Богостроительный экстаз Горького как две капли воды походил на только что упомянутый тип экстаза. В истории передовых отрядов рабочего класса мы не находим ни таких колебаний, ни такого «скептицизма», ни такого «экстаза». Вспомните Ленина, как фигуру, олицетворяющую собой слои пролетариата с завершенным классовым самосознанием. Разбитый в боях 1905—1908 гг., он не сдал ни одной пяди своих идейных позиций; как новый Галилей, он смотрел на мертвую, окровавленную землю революции и восклицал: «а все-таки она движется». И уверенный в силах своего класса, повторял вслед за Чернышевским: «будь, что будет, а будет на нашей улице праздник».

Но недолго держался у Горького богостроительный угар. «Народушко», — это «начало жизни, единое и несомненное», — сам по себе, не взбодренный сознанием и водительством пролетариата, еще только собиравшего свои силы после поражения в первой схватке, не подавал признаков жизни. И глубокий, безысходный пессимизм охватил Горького, как художника. В эту именно эпоху он написал такие строки: «Мы Русь, — а н а р х и с т ы п о н а т у р е [1], мы — жестокое зверье, в на-

[1] Эти слова очень уместны для характеристики мелкого товаропроизводителя, глубоко индивидуалистического по своему положению в процессе производства.

ших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь — ядовитое наследие татарского и крепостного ига, что тоже правда. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека — кровью плачешь, а ругаешь, ибо он, несчастный, дал и дает право лаять на него тоскливым собачьим лаем, лаем собаки, любовь которой недоступна, непонятна ее дикому хозяину, тоже зверю. Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и в то же время непонятно добродушный, — в конце всего — это талантливый народ». Зверь и раб, но талантливый. Чувствуется, что Горький словом «талантливый» хотел дать «народушке» индульгенцию, — но кого она может утешить? Зверь и раб — вот рубцы, которые остаются, несмотря ни на что.

В творчестве Горького, таким образом, начинается новая полоса. Он становится бытописателем окуровской Руси. «Городок Окуров», «Матвей Кожемякин», «Детство», «В людях» и др. — вот наиболее крупные вещи этого периода.

Один из критиков Горького, меньшевик Р. Григорьев, высказал полнейшее благословение новой манере Горького. «Наконец-то, — сказал он, — вместо романтических вымыслов и лжи («Мать», «Исповедь», «Лето») Горький стал рисовать Русь такою, какою она есть на самом деле, наконец-то он стал говорить правду». Здесь крайне интересно сказать два слова о раздвоенности Горького в этот период. Он выступал и как публицист и как художник. Как публицист, как член социал-демократической партии, он старался быть верным партийной идеологии и программе. Как художник, он был целиком во власти тех переживаний, которые надо искать, может быть, уже за «порогом сознания». Вы знаете, как часто встречается у писателей подобная раздвоенность. Напомню хотя бы

новейший пример. В посмертной драме Льва Толстого «И свет во тьме светит» бессознательные симпатии художника на стороне не толстовца Сарынцова, а его жены, с ним полемизировавшей.

В статье «Разрушение личности» (1908 г.) публицист Горький пишет: «Несмотря на слабость материала, капиталистическое общество держится крепко... Держится потому, что еще не испытало стройного напора враждебных ему сил». В заметке «О цинизме» (1908 г.) читаем: «Миллионы глаз горят радостным огнем, всюду сверкают молнии гнева, освещая веками накопленные тучи глупости и ошибок, предубеждений и лжи; мы — накануне праздника всемирного возрождения народных масс... Признаки возрождения человечества ясны, но «люди культурного общества» якобы не видят их, что, впрочем, не мешает мещанам чувствовать неотразимую близость мирового пожара... Жизнь растет, и современное общество ощущает «судороги почвы под нотами своими».

Диву даешься, когда вспомнишь, что автор, писавший эти строки в 1908 г., всего только через 9 лет, когда на самом деле пришел «мировой пожар» и начались «судороги почвы», не узнал и не благословил их. В чем же дело? Нам думается в том, и только в том, что публицист Горький не ясно подслушал то, что происходило в глубинах души художника Горького. А в этих глубинах нарастал раз'едающий скептицизм; это он говорил поэту: нет, не окуровской Руси, не Руси мелких товаропроизводителей, грызущихся между собою, эксплоатирующих, начинающих диференцироваться в разные прослойки мелкой буржуазии, с одной стороны, эксплоатируемых, темных и забитых — с другой, не ей, не этой Руси совершить подвиг, о котором мечтает публицист. Противоречие должно было быть преодолено, и Горький преодолел его в 1917 году тем, что внял не

публицисту 1908 г., а художнику и бытописателю окуровщины. Позвольте привести вам один знаменательный разговор из «Окурова».

Яков Тиунов говорит: «Что же Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов, считай, десятка четыре, а уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия!» Ему возражают? — «Ну, а примерно, Москва?»—«Что же Москва? — медленно говорит кривой Тиунов, закатив темное око свое под лоб. — Вот скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха — год не стирана, штаны — едва стыд прикрывают, в брюхе — как в кармане — сор да крошки, а шапка была бы хорошая, скажем — бобровая шапка. Вот те и Москва!».

Чрезвычайно интересно, что меньшевик Григорьев, цитируя это место, постарался сразу же поставить точки над «и». «Итак, — сказал он, — большой город, капиталистическая культура — у нас только «бобровая шапка» на беспортошном». И чтобы не было никаких сомнений, тот же автор толкует горьковскую хронику, как «предостережение художника политическому утопизму». «Не увлекайтесь-де поверхностной видимостью, прекрасной пеной явлений... Не забывайте, что «Москва» только бобровая шапка на голове полуодетого нищего, что за тонким слоем этой «Москвы» лежит тяжелой, нетронутой, способной все раздавить глыбой — окуровщина».

Конечно прав Григорьев. Как меньшевик, он с достаточной ловкостью использовал горьковское оружие и совершенно правильно нащупал корни горьковской полемики против людей 1917 г., когда Горький еще раз колебнулся к мнимому реализму против мнимого политического утопизма.

Тут мы переходим к проблеме лжи, чрезвычайно характерной для Горького. Но мы возьмем ее не в психологическом, а в социальном разрезе. Таким образом для нас проблема лжи превратится в проблему утопизма.

Горький чрезвычайно часто возвращался к этой проблеме. Вспомните его «Чижа, который лгал, и Дятла, любителя истины». Вспомните Луку на «Дне», проститутку, которая пишет письма несуществующему Болесю. Вспомните, наконец, что Горький воскресил в нашей памяти забытое стихотворение Беранже: «Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».

Лука в пьесе «На Дне» рассказывает: Жил-был один человек; он верил, что где-то существует праведная страна, где, он точно не знает, но существует наверное. Но пришел однажды к нему ученый человек с географической картой и сказал: вот ты мечтаешь о праведной земле. Где же она? Возьми карту и покажи, где же твоя праведная земля на этой карте. Вот Испания, вот Англия, это Палестина. А где же твоя земля? — И увидел мечтатель, что нет на карте праведной земли, пошел и удавился. Какой смысл этой глубоко трогательной легенды?

Я попрошу вас вспомнить великую борьбу индивидуализма с социализмом, буржуазии с пролетариатом.

Кроме виселиц, расстрелов, подкупов и клеветы, буржуазия выдвигала и идейных борцов: вспомните Спенсеров, Ренанов... Разве это не те «ученые с картой», которые, опираясь на позитивизм в науке и философии, критиковали наши «утопии»? Не говорил ли вкрадчиво Спенсер: Мечтатели, разве из свинцовых инстинктов человека можно выковать его золотое поведение? Разве не говорил Ренан, что, изгнав метафизику из наук о природе, надо изгнать ее и из обществознания?..

И годами распространялся великий софизм об утопичности социализма, о несогласованности его с точной наукой.

Но пролетариат, демиург нового общества,

идейные доспехи которому выковал Маркс, не смущался, не уходил, чтоб надеть петлю. Напротив, усвоивши положение, что действительность развивается диалектически, он твердо знал, что утопия сегодняшнего дня есть действительность завтрашнего.

Для него не существовало проблемы лжи, проблемы «социального мифа». Напротив того, мелкий товаропроизводитель, который хотя и ненавидел капитализм, но хотел бы свергнуть его во имя прошлого экономического уклада, к тому же слишком идеализируемого, — весь в плену социальной у т о п и и; да, подлинной утопии, ибо здесь правы и Спенсер, и Ренан, и др., ибо нельзя повернуть назад колесо истории в сторону мелкого производства.

Если не верить в пролетарский социализм, а в то же время ненавидеть капитализм, то есть только два выхода: либо в петлю, либо в сторону социального мифа на манер Сореля. Но, конечно, в том лишь случае, если массы товаропроизводителей не подпадут под влияние пролетарской идеологии.

Ленин говорил в 1917 г.: народные массы куда левее своих (тогдашних) вождей — Церетелли и Черновых.

И действительно, Октябрь показал нам, что когда пролетариат двинулся в бой, построил свои железные батальоны, он увлек за собой — оторвав от Церетелли и Черновых — несметные массы разоренного мелкого товаропроизводителя. Он сумел использовать их ненависть к угнетателям, их большую р а з р у ш и т е л ь н у ю силу, потому что они с ней, главным образом, пришли в революцию. Основы п о л о ж и т е л ь н о м у строительству дал, конечно, пролетариат, но и здесь он ведет за собой эти массы.

Мы ценим, любим Горького и преклоняемся перед ним потому, что он плоть от плоти этих

слоёв, неслыханные страдания которых толкнули их в сторону их авангарда — пролетариата. Пусть колеблется лично Горький, пусть благословляет сегодня то, что бранил вчера, пусть будет бранить завтра то, что хвалил сегодня, тем не менее он будет с нами, потому что он выразитель и идеолог этих промежуточных слоев, этих гигантских пластов трудящихся масс, а они идут с нами, они сплачиваются с нами все тесней и тесней, подпадая под влияние рабочего класса.

Товарищи! Большинство здесь присутствующих люди одного поколения. На нашу долю выпало редкое счастье: наша молодость, наша личная «весна» переживалась нами в момент «весны», в момент «молодости» того общественно-политического движения, которое, вставши впоследствии грозным шквалом, смыло с лица земли устои эксплоататорского строя.

Молодость и революция! Революция и молодость! Более счастливого, более радостного сочетания нельзя себе и представить.

Алексей Максимович немногим нас старше. Он переживал то же. Молодостью и революцией целые годы дышало его творчество. И хотя позднее не всегда он попадал в один шаг с нами, тем не менее мы, не находя его ныне в своих рядах, скажем словами поэта:

О милых спутниках, которые твой свет
Своим присутствием животворили,
Не говори с тоской: их нет!
А с благодарностию: были!

но добавим: «и будут». (Шумные, долго несмолкающие аплодисменты).

ЧЕХОВ И КРЕСТЬЯНСТВО

1

А. П. Чехов совершенно справедливо считается типичным «певцом русского города», и если, тем не менее, деревня вообще, а крестьянство, в частности, занимают в его творчестве очень видное место, так это в конце концов об'ясняется тем обстоятельством, что наш автор изображал страну, находившуюся на таком этапе общественного развития, который как раз и характеризуется недостаточной диференцированностью экономики. Когда-то Маркс говорил о Германии 40-х годов, что она страдает не только от развития капитализма, но и от недостаточности этого развития. Россия эпохи Чехова — в основном, в главном, в центральном — исчерпывающим образом характеризуется этими же именно словами. Чеховский город и чеховская деревня являются, как мы увидим ниже, до чрезвычайности верным и точным изображением подлинного города, подлинной деревни той эпохи, которая характеризуется, говоря словами Ленина, преобладанием «азиатских форм капитализма», — эпохи, когда методы «первоначального накопления» продолжают еще быть на первом плане. А в такие эпохи противоположность города и деревни еще не отчетлива, еще не резко выявлена.

Чтобы понять творчество А. П. Чехова в интересующем нас отношении, мы несколько остановимся на том анализе упомянутой выше эпохи,

который был сделан самым выдающимся представителем тогдашней научно-марксистской мысли. «Подчинение преобладающего большинства производителей капиталу,—писал Ленин в 1894 г. [1],—до своего высшего, предельного развития проходит много ступеней... Начинается это подчинение торговым и ростовщическим капиталом, затем переходит в индустриальный капитализм, который в свою очередь сначала является технически совершенно примитивным и ничем не отличается от старых систем производства, затем организует мануфактуру, которая все еще основывается на ручном труде, покоится на преобладающих кустарных промыслах, не нарушая связи наемного рабочего с землей, и завершает развитие крупной машинной индустрией. Только последняя, высшая стадия представляет кульминационную точку развития капитализма». (Курсив везде мой. Ив. Т.).

На какой же ступени развития стоит Россия? Ленин отвечает: «Народники считают наш капитализм (т. е. крупную машинную индустрию.—Ив. Т.) искусственным тепличным растением, потому что не понимают связи его со всей товарной организацией нашего общественного хозяйства, не видят корней его в нашем «народном производстве» (т. е. в крестьянском сельском хозяйстве и в кустарных промыслах. Ив. Т.). Покажите им эти связи и корни, покажите, что капитализм господствует в наименее развитой и потому в наихудшей форме и в народном производстве, — и вы докажете «неизбежность» русского капитализма (машинной индустрии. Ив. Т.). Покажите, что этот капитализм, повышая производительность труда и обобществляя его, развивает и выясняет ту классовую,

[1] «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» (Собрание соч., т. II).

социальную противоположность, которая повсюду сложилась в «народном производстве», — и вы докажете «законность русского крупного капитализма». И еще: «Одна из самых крупных ошибок народников состоит в том, что они не видят теснейшей и неразрывной связи между капиталистической организацией русского общественного хозяйства и полновластным господством в деревне торгового (и ростовщического. Ив. Т.) капитала»; ведь «земледельческое (и кустарное. Ив. Т.) производство крестьян... служит постоянным об'ектом операций торгового и ростовщического капитала, отбирающего громадные доли продукта у преобладающей массы крестьянства».

Еще ярче следующая формулировка Ленина: «Народники забывают, что первичной формой капитала всегда и везде был капитал торговый, денежный, что капитал всегда берет технический процесс производства таким, каким он его застает, и лишь впоследствии подвергает его техническому преобразованию. Они не видят поэтому, что «отстаивая» современные земледельческие порядки от «грядущего» (?!) капитализма, они отстаивают только средневековые формы капитала от натиска его новейших, чисто буржуазных форм».

Итак мы имеем теперь исчерпывающий ответ на вопрос, чтó представляла собой Россия эпохи Чехова. Она была страной, в экономике которой, наряду «с переживанием крепостнических отношений» (отработки, кабальная аренда, рабочий с земельным наделом и т. д. и т. п.), господствовали неразвитые, азиатские, средневековые, а потому особенно тяжелые для производителя формы капитализма, но эти формы уже стали подвергаться

«натиску» со стороны более высоких, более чистых форм машинно-индустриального капитализма.

Каким же было — в частности — положение крестьянства? Каковы более конкретные черты его экономики?

«Не от одного только помещичьего землевладения, — писал автор этих строк в другой работе [1], — страдали крестьяне. Дореволюционное крестьянство, не будучи в состоянии существовать на доход с одного только земледелия, искало и должно было искать дополнительных заработков в кустарных промыслах, в домашней промышленности и пр. Но как раз в 70-х—80-х—90-х годах усиленно развивался русский капитализм: он разрушал кустарную промышленость, губил домашнее производство. Таким образом, крестьяне, неожиданно для себя, встретили еще одного врага в лице крупной индустрии, которая разрушала подсобные для крестьянского хозяйства промыслы.

Но и этого мало. Русский капитализм дореволюционного времени, согласно царской хозяйственной политике, развивался на основе так называемого протекционизма, т. е. высоких таможенных пошлин, охранявших его от западно-европейской конкуренции. Крестьянство как массовый потребитель должно было на продуктах своего потребления переплачивать огромные суммы в пользу этого протекционистски построенного капитализма. По исчислениям некоторых экономистов, за тридцать лет (70—90-е годы) крестьяне переплатили не менее трех миллиардов рублей золотом на этом фронте.

Но мало того, что помещики и фабриканты отнимали у крестьянства его горький кусок хлеба: у него находились все новые и новые враги.

Может быть именно к этому времени особенно подходила с виду такая простая, но чрезвычайно

---

[1] И. А. Теодорович. «Судьбы русского крестьянства». М. 1925 г. 4-е изд.

трагическая по своему смыслу русская поговорка: «один с сошкой, а семеро с ложкой». Но оказалось, что тех, «с ложкой», еще больше, чем сосчитал сам народ. Кроме помещиков и фабрикантов сюда же входили: торговцы, которые покупали у крестьян их продукты по низкой цене, а продукты города продавали им по высокой; скупщики, которые «организовывали» крестьянское внеземледельческое производство, давали крестьянину задатки вперед, доставляли ему сырье и орудия труда, а затем наверстывали все это чрезмерным повышением своих барышей; наконец бравшие огромный процент ростовщики, к которым приходилось обращаться за ссудой.

В этой обстановке, где всякий брал с крестьянина все, что только можно, и даже что только желательно, произошло среди самих крестьян расслоение, и кулачество пользовалось этим страшно стесненным положением крестьян для того, чтобы сорвать с них и свою долю.

И когда, казалось бы, уже с крестьянина нечего брать, являлось царское правительство со своими чиновниками, со своей армией, со своими попами, и каждый требовал с крестьян еще, еще и еще.

При таких условиях у крестьянина не могло накопиться никакого капитала, а без капитала нечего было и думать о массовом улучшении крестьянского хозяйства — о ликвидации трехполья и других отсталых систем хозяйства»[1].

Но если под влиянием «капитализации промыслов» (мы употребляем здесь выражение народника Н—она), с одной стороны, и под влиянием усиления помещичьей эксплоатации, с другой — крестьянин все больше и больше оттеснялся в сторону ведения одного, так сказать, чистого зе-

[1] Сравни у В. И. Ленина: «Для изменения техники к лучшему нужны свободные денежные средства, а у этих крестьян нет даже продовольственных средств» (Ленин, т. II, стр. 127).

мледелия ради простых продовольственных нужд, то это означало, что он должен был все время нарушать необходимую пропорцию угодий (пашня, лес, луг, выгон) в пользу пашни: шел процесс вырубания и расчистки лесов, запахивания лугов, выгонов и пастбищ.

Еще при своем «освобождении» в 1861 г. крестьянство было лишено в пользу помещиков целого ряда выгонных и луговых угодий. Вышеописанный процесс еще более обострил положение. Но сокращавшаяся беспрерывно площадь кормовых угодий влекла за собой сокращение скота и навозного удобрения (на минеральное, разумеется, не было «свободных денежных средств»). А это вызывало хроническое недовосстановление естественного плодородия почвы и падение урожайности, а зачастую — и катастрофические неурожаи. Вот картина оскудения массового крестьянского хозяйства. Отсюда неслыханное обнищание огромных слоев крестьянства, бегство в города, вымирание и т. д.

В такой атмосфере рос кулак, подхватывая бросаемые полосы. В эту именно эпоху, накануне первой революции, по подсчетам Ленина одна шестая часть (только одна шестая!) крестьянских дворов сосредоточила у себя свыше пятидесяти процентов (свыше половины!) всего сельскохозяйственного производства. К этой картине вполне приложимы слова К. Маркса из первого тома «Капитала»: «Процесс вытеснения, превращающий индивидуальные и разрозненные средства производства в общественно-концентрированные, превращающий карликовую собственность многих в гигантскую собственность немногих, эта болезненная, эта ужасная экспроприация трудящегося народа, — вот источник и происхождение капитала. Основой всей этой эволюции является экспроприация земледельцев».

Но если все время падала хозяйственная сила крестьянства, то это не значило, что уменьшались аппетиты тех, кто был «с ложкой». Всех их надо было кормить: и капиталистов с их персоналом технической интеллигенции, налаживающим и организующим производство и обмен и помогающим выкачивать из производителя прибавочную стоимость, и помещиков, и попов, и служилый люд, и т. д. и т. п. Эти рты, по выражению Щедрина, требовали «кашки», но чтобы крестьянин мог ее давать безропотно и безотказно, нужно было иметь такой политический режим, который

Мужика под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Так именно из тогдашней экономики (засилье помещичьей ренты и азиатских форм капитализма) вырастала та ужасная политическая реакция, которая ради самосохранения тех, кто хотел «кашки», не могла шутить, а должна была круто завинтить крышку над производителем, чтобы никто, никогда, нигде не мог позвать его — хотя бы намеком — к протесту, и чтоб сам он «не смел пикнуть».

Таким образом тогдашний **научный** анализ дает нам точную картину хозяйственной и политической жизни страны, и в частности, картину положения крестьянства как кулацкого, так и бедняцко-середняцкого.

2

Крайне любопытно теперь посмотреть, как выглядела эта же действительность под лупой великого художественного таланта А. П. Чехова?

Мы знаем, что покойный писатель недолюбливал марксистов. В письме к Л. В. Средину от 1900 г. он замечает: «А на улицах (Ниццы) народ веселый, шумный, смеющийся, не видно ни **исправни-**

ка, ни марксистов с надутыми физиономиями».

Поставить марксистов (много позднее говорили: «большевиков слева») рядом с исправником («большевиком справа»), обозвать их «надутыми», — очевидно, надутыми ложной ученостью, ложной наукой, — что может быть злее? Но личные симпатии и взгляды Чехова не были в ладу с его творческим инстинктом, с его художественной совестью. У писателей очень часто можно наблюдать подобную раздвоенность. В посмертной пьесе Льва Толстого «И свет во тьме светит» чувствуется, что автор не на стороне «толстовца» Сарынцова, а уделяет свои бессознательные симпатии жене Сарынцова, которая спорит с мужем. Второй пример. Тургенев задумал Базарова, как памфлет, как карикатуру на кружок «Современника, а что получилось? Умный реакционер Катков констатировал, что вопреки суб'ективным намерениям Тургенева, Базаров вышел у него куда более симпатичным, чем Кирсановы. Надо думать, это потому, что как говаривал Н. Г. Чернышевский, «лев не годится для карикатуры».

И в нашем случае — не жаловавший марксистов Чехов дал нам художественное изображение России вообще, а крестьянства в частности, чрезвычайно близко совпадающее с тем изображением, которое было сделано научным анализом марксизма.

Мы постараемся доказать это прямыми сопоставлениями.

Еще среди самых ранних рассказов Чехова, таких рассказов, которые он сам же именовал «снетками», есть один — прямо символический — «Маски». В читальню, где за газетами сидели местные интеллигенты и чиновники, врывается пьяный человек в маске и начинает непристойнейщий скандал, выгоняя читающих из комнаты. Все возмущены до крайности, требуют, чтобы он сам

убрался. Но маска кричит: «Прошу не прекословить и выйти». Наконец зовут пристава. Делая страшные глаза, пристав орет: «Выйди вон!». Тогда буян снимает маску, и все узнают в нем местного фабриканта, миллионера Пятигорова. «Интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки», и... стали извиняться перед скандалистом, этим фактическим «хозяином жизни».

Вот она — подлинная хамская Русь, пресмыкавшаяся, как выражался Глеб Успенский, «перед купоном». Вот и образ одного из ее «вождей», сильного забитостью, неразвитостью, отсутствием классового самосознания у его жертв...

А вот и другой «хозяин» — Павел Ильич Рашевич, помещик, белая кость. «Для меня, — говорит он, — такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, — не пустые звуки... Не чумазый же, не кухаркин сын дал нам литературу, науку, искусство, право, понятия о чести, о долге... Мы... братаемся, извините, со всякой дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками... Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! В харю! В харю!» («В усадьбе»).

Читатель, конечно, видит, каковы на деле «благородство» и «аристократизм» этого азиата. Но как метко, как совсем по-марксистски схвачена взаимная ненависть двух эксплоататорских классов, вырастающая на базе дележа добычи, которая берется из одного и того же источника.

Подобные же взаимоотношения прекрасно схвачены Чеховым в «Рассказе неизвестного человека». Один из героев рассказа Орлов, по внешности культурный европеец, интеллигентный чиновник и аристократ, а на деле гнуснейший азиат, использовавший, как клубничку, честную, чуткую,

цельную женскую натуру, погубивший ее и бросивший «в приют» родную дочь, от нее прижитую, — разводит рацеи в стиле Рашевича: «Наш свет (высший) и пошл, и пуст, но за то мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, — и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство».

В «Жене» главное действующее лицо выражается так: «Я не скажу, чтобы они были нечестны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль». Совсем «жаба» Рашевич!..

Вот третья фигура из «Степи»: Варламов, крупный торговец шерстью, — «его все ищут, он всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая». «Лицо его... простое русское, загорелое лицо». Народники твердили, что капитализм растет сверху. Чехов одним мимоходом брошенным словом, — «простое русское лицо», — превосходно показывает, что ему доподлинно известно, как капитализм «растет снизу»; как из рядов мелкого товаропроизводителя выходят эти Морозовы, Горелины, Варламовы. «Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание «силы и привычной власти над степью», над тысячами и тысячами населяющих ее производителей. Как подобного «чумазого» должны были ненавидеть Рашевичи и Орловы...

Пятигоров, Рашевич, Варламов — крупные фигуры. Но вокруг них, рангом ниже, размерами мельче, кишат всевозможные «печенеги». Кстати, Чехов любит и часто употребляет это меткое сло-

во, так красноречиво говорящее об Азии, об азиатских формах русского капитализма. В «Моей жизни» дочь инженера говорит по адресу мужиков: «Дикари! Печенеги!» В рассказе «Жена», написанном много позднее, доктор Соболь отмечает: «А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печенеги и половцы».

Мы еще будем говорить ниже о деревне по Чехову, а сейчас коснемся «печенегов» из других общественных слоев. Вот «печенег» Жмухин, мелкопоместный дворянин-казак. Размышляя о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, он находит, «как все это не нужно»; про женщину говорит: «я женщину, признаться, не считаю за человека». «В мое время,— рассказывает он,— жили без церемоний». Когда он служил на Кавказе офицером, убили князя из горцев. На его могиле убивалась, рыдала жена. «Ну, надоело... Взяли мы эту княгиню, высекли ее — и перестала ходить на могилу». «И сейчас, — констатирует он, — не лучше». И он сообщает, как его сосед применяет один из бессовестнейших способов «первоначального накопления»: он платит своему приказчику каждую субботу за то, что тот согласился при расчете рабочих на шахтах по этим дням заявлять, что денег нет; те его избивают, бросают шахты, но приходят новые голодные люди, и история повторяется опять и опять... («Печенег»). Но откуда берется эта бесконечная цепь голодных людей? Это та знаменитая «резервная армия безработных», роль которой при развитии капиталистического способа производства так блестяще вскрыта Марксом.

Ординатор Королев приезжает к больной дочери фабрикантши Ляликовой в деревню на фабрику. Глядя на корпуса, он думал о том, что «вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и ту-

пой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые»... «Тысячи полторы-две фабричных работает без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в «кабаке отрезвляются от этого кошмара». («Случай из практики»).

В «Моей жизни» герой рассказа говорит почти теми же, что и Королев, словами: «мне предстояла однообразная, рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки». Здесь фабрика окружена еще такой атмосферой, которая целиком перенесена из условий первоначальной стадии капитализма.

В другом расказе читаем: «Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц» («В овраге»).

В том же расказе появляется еще одна, в высшей степени интересующая нас фигура — кулак Григорий Цыбукин. «Григорий Цыбукин держал бакалейную лавочку (в селе Уклееве), но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется. (Это обстоятельство очень характерно для той стадии развития, когда крестьянские хозяйства почти не вступали еще на путь специализации и далеко не все еще имели высокий процент товарности. Ив. Т.) и когда, например, за границу понадобились для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый».

Эту до последней степени точную зарисовку любопытно сопоставить с зарисовкой другого кулака из села Райбужа, — Кашина, он же Дюдя, — в рассказе «Бабы», написанном гораздо ранее, лет за десять до рассказа «В овраге»: «Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и медом, и скотом, и сороками и у него уже набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке».

Нельзя пройти мимо одного штриха в обоих силуэтах: и Цыбукин, и Дюдя торгуют... сороками. Этот штрих очень показателен; он говорит о том, что образы у Чехова — не надуманные, а выхваченные из самой подлинной, из самой живой действительности, а потому глубоко ему запомнились, запали в душу.

Перед нами прошла целая галлерея лиц, от фабрикантов Пятигоровых и Ляликовых, скупщиков Варламовых, помещиков Рашевичей и Орловых до деревенских кулаков, направлявших свои капиталы либо пока еще исключительно на торговлю (Цыбукин), либо уже затрачивающих их и на сельское хозяйство («Дюдя арендует участки») [1]. Мы видели картину страны, где отцы жестоко бьют своих детей (интеллигент архитектор Полознев, лавочник-кулак Лопахин и т. д.), мужья — жен (в «Новой даче» глупый Володька бьет Лукерью, то же в «Бабах», в «Мужиках»), где царствуют пьянство, разврат, карты, взятки во всех сословиях, в том числе и среди интеллигенции (город не дал инженерам пятидесяти тысяч, и они провели железную дорогу в стороне от города — в «Моей жизни», уездный врач берет

[1] Различие, которое отмечает Чехов между типичным «кулаком» Цыбукиным и между «кулаком» Дюдей, уже делающим первый шаг на пути превращения в «фермера», делает честь изумительной наблюдательности нашего писателя: тут художник с точностью экономиста подметил последовательно этапы развития.

взятки — в «Овраге» и т. д.); где мнимо-культурные люди вступают в борьбу с «народными предрассудками» — зажигают сразу **т р и** свечи, — но в то же время с остервенением травят девушку, забеременевшую от любимого человека; где процветает самое махровое подхалимство, хамство, молчалинство (Кулыгин в «Трех сестрах»: «директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился»).

В городах этой страны — гниль средневековья. Мисаил Полознев говорит про свой город: «Во всем городе (а в нем 60 тысяч жителей) ни одного честного человека! Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... **Г о р о д л а в о ч н и к о в, т р а к т и р щ и к о в, к а н ц е л я р и с т о в, х а н ж е й, н е н у ж н ы й, б е с п о л е з н ы й г о р о д**»... «И я спрашиваю, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков, или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами». И посмотрите, как эти «хозяева жизни» относятся к трудящимся. В «Жене» доктор Соболь бросает фразу: «Сколько среди нас гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами (в пользу голодающих. Ив. Т.), но не платят своим портным и кухаркам». Еще ярче выражается Полознев-сын: «Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо... В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький

чиновник считал себя в праве обращаться с нами, как с животными».

Вершинин в «Трех сестрах» говорит о своем городе: «Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три». Подумать — только три! А Андрей Прозоров еще более строг: «Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного..., который возбуждал бы страстное желание подражать ему... Только едят, пьют, спят... разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством...». И он заканчивает мечтой о том, что придет время, когда он и его дети станут «свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства».

Не отстает от города и «деревня». От внимания зоркого художника не ускользает ни одна черта хозяйственного быта. «Когда портнихи кончили, то Цыбукин («В овраге») заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать». Вторая жена Цыбукина — Варвара, сохранившая еще обывательскую совесть, жалуется пасынку: «Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?» Пасынок соглашается с ее характеристикой и добавляет: «Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл, а шкурки-то у папаши».

Читатель помнит, какую картину современной Чехову России давал марксистский научный анализ. Теперь мы увидели эту же Россию под пером великого художника. Я думаю, читатель схватил

уже поразительное совпадение этих двух изображений. Как художник, Чехов видел Россию «по-марксистски», как овес растет — «по Гегелю».

В чем же суть его «точки зрения»? Русская критика выработала известный, широко распространенный трафарет оценок Чехова. Так, Львов-Рогачевский характеризует нашего автора, как певца «эпохи бездорожья и безвременья»; Евгеньев-Максимов пишет: «Он ярче чем кто-либо из писателей его эпохи обрисовал развал и разложение окружающей жизни, показал тот тупик, в который забрела Россия». Дивильковский в творчестве Чехова видит «грусть над безобразием жизни». Покойный Ангел Богданович называл Чехова «талантом мертвой полосы». Подобные отзывы можно цитировать без конца: они типичны почти для всех критиков Чехова. Как курьез, напомню, что А. Измайлов, не согласившийся с оценкой А. И. Богдановича и резко полемизировавший с ней, сам определил Чехова, можно сказать, слово в слово: «Чехов — самый яркий певец нашей сумеречной эпохи». Чем «сумеречная эпоха» отличается от «мертвой полосы», наверно, не скажет и сам сердитый антагонист Богдановича.

Верны ли все эти определения? Мы ответим так: они слишком общи, лишены конкретности, а потому, даже то, что в них верно, не имеет полновесной цены. Мы теперь можем сказать гораздо точнее, гораздо конкретнее: Чехов — бытописатель страны, бившейся в тисках пережитков феодализма и отсталых, азиатских, средневековых, форм капитализма в момент, когда эти формы стали испытывать атаку, натиск со стороны высших форм капитализма. Как отразились в творчестве Чехова эти атака и натиск, мы рассмотрим ниже, а сейчас подчеркнем, что господство таких азиатских форм капитализма везде и всегда в истории

сопровождается, с одной стороны, беспримерно-жестокой эксплоатацией, а с другой — крайней забитостью, темнотой, отсутствием сколько-нибудь заметного классового самосознания у производителей.

Эти две характернейших черты эпохи с поразительной зоркостью, как помнит читатель, схвачены Чеховым: вряд ли кто ярче его изобразил город и деревню (вспомните еще раз реплики Андрея Прозорова) эпохи первоначального накопления с ее очень высокой нормой прибыли, дающей для одних возможность сытой ленивой скотской жизни, для других — несущей смерть, вырождение, рабство, разгром последних остатков независимого, самостоятельного хозяйствования.

3

После того, как мы уяснили себе суть общественно-экономических отношений России во всем народно-хозяйственном масштабе, обратимся в частности к деревне, к сельскому хозяйству. Совпадут ли и здесь анализ науки и творчество поэта?

В одном из ранних рассказов («Свирель»), написанном еще в середине восьмидесятых годов, т. е. задолго до «марксистской полосы» в русской легальной литературе, Чехов передает разговор пастуха Луки с охотником Мелитоном. Лука говорит: «И куда оно все девалось? Лет двадцать назад помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча-тучей!.. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковину, а нето, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из года в год божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится... Пришла пора божьему миру погибать...

Не одни птицы (пропадают)... И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то, небось, сохнут... И леса тоже... И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет... Всякая растения на убыль пошла... Рожь ли взять, овощь ли, цветик ли какой, все к одному клонится...».

Пусть читатель заглянет еще раз в ту страницу нашей статьи, где согласно научных данных, описывается процесс оскудения земли, распахивания лугов и лесов, падения урожайности и т. д.: он сразу же констатирует полное сходство научного описания с чеховским изображением. Но послушаем дальше нашего пастуха: он указывает на то, как этот процесс оскуднения почвы ведет за собой вырождение и мужика и барина. Про первого он говорит: «Сын мой умней меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит, или лечиться пойдет». Еще ярче он характеризует барина, гибнущего, несмотря на всю свирепость эксплоатирования мужика, под ударами развивающегося капитализма: «Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтоб себя к настоящему делу приспособить[1]. Прежние бары наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка». Поистине, совсем как у Некрасова:

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим — по мужику.

Наблюдения пастуха целиком подтвердил приказчик с хутора Мелитон: «И жить хуже стало, дед. Совсем не в моготу жить. Неурожаи,

[1] Это поразительно меткое слово. Нужно считать установленным, что Тургеневского «лишнего человека» следует считать феодалом, помещиком, не сумевшим обуржуазиться, но не желающим более жить по-старому, т. е. человеком, который, говоря языком Луки, «не может приспособить себя к настоящему делу».

бедность... падежи то-и-дело, болезни... Одолела нужда».

Тот же мотив слышим мы в «Степи» (1888 г.): «Пантелей (возчик) рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности». В подчеркнутых нами словах ясно указано на процесс дробления крестьянских хозяйств, ведущий к их страшной измельченности, сопровождающейся падением плодородия и урожайности.

Старик Осип в «Мужиках» (1897 г.) говорит все о том же, «как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битой птицей».

В дивном рассказе, написанном уже в середине 90-х годов («Скрипка Ротшильда»), знакомимся мы с гробовщиком Яковом. Живет он в городке, но «городок был маленький, хуже деревни»; «жил он бедно, как простой мужик». И вот этот Яков «сел под вербу и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, а на реке утки да гуси, и не похоже, чтоб здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей». Рассказ кончается потрясающими размышлениями замученного нуждой старика. В предсмертном ти-

фозном бреду он «соображал, что от смерти будет *одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей*, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная».

Луке, Мелитону, Пантелею, Осипу, Якову вторит доктор Астров из «Дяди Вани»: «Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки... Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, но *до сих пор он не творил, а разрушал.* Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится *все беднее и безобразнее*». «Все беднее», — это верное указание на падение естественного плодородия почвы целиком, как мы видели, разделялось наблюдателями из «простонародья». Астров ввел новый «эстетический» момент — «безобразнее», — но его мы коснемся ниже, в другой связи.

Немудрено, что при таком оскудении «мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут»: им не до эстетики, быть бы живу! Доктор показывает своей собеседнице составленную им картограмму, из которой явствует, что было двадцать пять — пятьдесят лет тому назад в их уезде. «Водились лоси, козы... лебеди, гуси, утки... носилась птица тучей (сравните этот язык с языком Луки!). Рогатого скота и лошадей было много». Но вырубать стали лес, и теперь — «картина постепенного и несомненного вырождения, которому, повидимому, остается еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет, чтобы стать полным». Нет никакого сомнения, что пророчество Астрова сбылось бы до малейшей подробности, если бы не революция 1905 года, когда, с одной стороны, высшие формы капитализма, а с другой — созданный ими же пролетариат,

каждый по-своему, начали борьбу с таким положением вещей...

Нам кажется, что можно ограничиться этими выписками. Нужно признаться, что и их вполне достаточно, чтоб считать доказанным, что процесс «оскудения» сельского хозяйства Чехов опять-таки изобразил совсем по-марксистски. Наблюдения Чехова относилсь к лесостепи и особенно к степи. Урожненец Северного Кавказа, Чехов особенно хорошо знал засушливую зону нашего сельского хозяйства.

До последней степени любопытно сопоставить с нарисованной им картиной следующие сухие строки одного из специальных докладов Наркомзема: «Прошлое столетие на значительной части территории области характеризуется усиленным внедрением зернового хозяйства, которое почти повсеместно вытесняло экстенсивные отрасли животноводства, свойственные сельскому хозяйству области в прошлом. Так, в Самарской губернии с 1860 по 1887 г. площадь пашни увеличилась на 232%, в Оренбургской — на 835%. Сенокосные угодья сокращались. В результате этого процесса, к началу XX века сельское хозяйство значительной части области приняло односторонний зерновой характер. Так, к 1916 году зерновые культуры в посеве составляли: в Приволжье — 94,9%, в Заволжье — 97,1%, в Донском округе — 89,8%, и т. д.». Не правда ли, полное совпадение наблюдений художника и экономиста. Тот же экономист указывает, что за последнее время (в конце 80-х и в 90-х гг.) наметилась тенденция к интенсификации как в земледелии, так и в животноводстве. Растет, например, свиноводство. Насколько внимателен был глаз Чехова, можно судить по тому, что он заметил и этот процесс. В той же «Степи» (1888 г.) мы читаем такую сценку: «И желая на первых же порах показать, что он — не

такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить: «Мы пасеку держим и свиней кормим».

Мы знаем теперь, в какой народно-хозяйственной обстановке пришлось жить крестьянству: «семеро с ложкой» жадными пиявками присосались к его телу. Петр Трофимов из «Вишневого сада» говорил Ане: «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов?!.» Бедняга совершенно напрасно начинал с деда; если б он понимал суть вещей, он кроме дедов говорил бы и о внуках. Полукрепостническая эксплоатация прекрасно процветала и при нем. Все эти Раневские, Гаевы, Пищики, Орловы продолжали кормиться за счет мужика. С ними соперничали в этом деле Ляликовы, Пятигоровы, Варламовы, Цыбукины, Дюди и т. д. и т. д.

Это — первый момент. Мы знаем теперь и второй момент, тесно переплетающийся с первым, — это момент падения урожайности, момент измельчания крестьянских хозяйств, момент хищнического истощения естественного плодородия почвы.

Там, где сочетаются эти два момента, мы всегда находим третий момент: наслыханные страдания обездоленных масс крестьянства. Ускользнул ли этот акт от внимания Чехова? Нет, не ускользнул. Он видит беспросветную нищету, темноту (вспомним хотя бы «Злоумышленника»), бесправие, заброшенносеть... В «Жене» читаем: «В конце концов им есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного, сыпного тифа; все буквально больны... В избах смрад, а пищей служит один мерзлый картофель». В этой же повести доктор говорит: «Только и знаем, что горим, голодаем... Ведь это не жизнь, а пожар в театре». В «Новой даче» Степа-

нида жалуется: «И грехов много от бедности, да с горя все, как псы, лаемся, хорошего слова не скажем, и чего не бывает, барыня-голубушка, — не дай бог!». «Бедность», — вторит ей Родион, — заботы много, работаем — конца краю не видать. Вот дождя бог не дает... Неладно живем, что говорить...». Жена инженера жалуется, что крестьяне их обижают, а тот же Родион отвечает ей: «Народ у нас хороший, смирный... Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет».

В «Мужиках» Николай смотрит, «с какой жадностью старик и бабы ели черный хлеб, мокая его в воду». «По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — в с е о н у ж д е, да о б о л е з н я х».

На этом фоне, действительно оправдываются слова Степаниды. Но мужики не только «лаются». Больше того. Среди них царит «смертный бой». Вот, например, Кирьяк: «подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу; она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь»...

Да, «нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься». В силу таких обстоятельств, старуха хозяйка «старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И в с е о н а б е с п о к о и л а с ь, к а к б ы к т о н е с ’ е л л и ш н е г о к у с к а, как бы старик и невестки не сидели без работы». А проработавши весь день, она «намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час». Да и что, кроме хлеба, могла есть эта злосчастная семья, если «ш е л к б р а л и с б л и ж н е й ф а б р и к и», и вся семья вырабаты-

вала на нем немного — копеек двадцать в неделю?»

Отсюда же недоимки... На почве насильственного их взимания разыгрывается страшная сцена: «Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь: «Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!» Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи; седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась, и, как настоящая бунтовщица (пусть читатель запомнит эту характеристику: она об'яснит ему 1917 год в деревне), стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая: «Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили!» Ой, ой, голубчики, вступитеся!» В другом рассказе — «В овраге» — Чехов передает, что «когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба (по адресу кулаков Цыбукиных): «Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!»

И здесь надо отдать должное зоркости Чехова. Разумеется, он знал, что главный фон тогдашней деревни — это забитость, страх перед хозяевами жизни, покорность судьбе. Но он улавливал на этом фоне такие мимолетные вспышки, как вышеописанные; потухавшие безрезультатно в миллионах и миллионах случаев, — они пророчили наступление момента, когда все это горе, все это отчаяние и озлобление польется широкой мощной рекой, после того как другой класс — городской пролетариат — могучей рукой «сорвет плотину». Недаром ухо Чехова услыхало в середине 90-х годов, как мужики «говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то»... Лично Чехов вряд ли

придавал значение этим намекам и разговорам, во всяком случае им не сочувствовал, но добросовестность художника прежде всего! — и вот он передал нам то, что уловил.

На базе сочетания разобранных нами трех моментов — беспощадной эксплоатации, падения хозяйства и жестоких страданий — вырастают всевозможные пороки. Но здесь мы должны сделать несколько замечаний по поводу того, что как раз в этом пункте Чехов-художник не всегда был в ладу с Чеховым-человеком. Правда, и здесь великий писатель дает превосходные снимки с действительности, но он не всегда удерживается от собственной оценки этих снимков и этой действительности. Возьмем, например, вопрос о пьянстве. Общеизвестно, что даже злейшие реакционеры, например, Катков, Фет и др. не могли отрицать глубокой деградации крестьянского хозяйства в современный им период. Но эти господа добавляли, что в такую беду попадал мужик сплошь и рядом по своей собственной вине, и они выдвигали на первый план вопрос о народном пьянстве. С легкой руки реакционеров этот мотив стал перепевать и рядовой обыватель. Покойный Д. Д. Минаев отразил этот факт и посмеялся над ним в одном сатирическом стихотворении:

Полно вам! Такого рода
Дифирамбы в честь народа
Надоели! Наш народ
Пьянство губит и гнетет.
Одурманена вся Русь им:
Села, веси, города...
Впрочем, выпьем и закусим
Пред обедом, господа!

Разумеется, народники подняли перчатку, причем иногда впадали чуть ли не в идеализацию народного порока. Так, Некрасов писал:

Мужик стоял на валике,
Притопывал лаптишками
И, помолчав минуточку,

Прибавил громким голосом,
Любуясь на веселую,
Ревущую толпу:
Эй! Царство ты мужицкое,
Бесшапочное, пьяное,
Шуми — вольней шуми...
Пиши: «В деревне Босово
Яким Нагой живет,
Он до-смерти работает,
До полусмерти пьет!»

Но надо признать, что Некрасов был довольно одинок в таком подходе к пьянству. Большинство народников шли иным путем: они совершенно справедливо оспаривали самый факт, будто бы беспримерного пьянства; с цифрами в руках они доказывали, что целый ряд западно-европейских и американских стран тратит, при расчете на душу населения, гораздо больше денег на водку, и тем не менее не знает такой беспросветной нужды и разорения хозяйства.

В этом, длившемся целые десятилетия споре Чехов, к сожалению, часто занимал вульгарную обывательскую позицию. Почти во всех рассказах у него — где мужик, там и беспробудное пьянство. В «Новой даче» читаем: «Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька отправились в село Кряково, где был кабак, и долго там гуляли». И далее: «Не ходи, сынок; небось в кабак зовут». — «В кабак» — передразнил Володька. «Опять пьяный вернешься, ирод собачий! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой. — Иди, иди, и чтоб ты сгорел от водки, сатана бесхвостая! — Володька ударил ее по уху и вышел».

В «Мужиках» та же картина: «В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами все врозь и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: «Ах, батюшки!» В «Моей жизни», совершенно так же, как и в «Новой даче», положение складывается такое: благожелательные к мужику интеллигенты и в обоих случаях инже-

неры, один с женой, другой с дочерью) в ответ на хорошее к мужику отношение встречают со стороны крестьян попытки постоянно тянуть с них на водку и вообще «наживаться» на их счет. Это выводит из себя интеллигентов, и они начинают ненавидеть мужиков за хамство, за пьянство, за неуважение к себе и т. д.

Наблюдая такие картины, сам Чехов иногда был склонен крикнуть совместно кое с кем из своих персонажей: «Варвары! Дикари! Печенеги! Половцы!». Но в другие разы заговаривала совесть художника, инстинктом чувствующего причины причин, и тогда Чехов выводил Королева, который понимал, что трудовой люд «только изредка в кабаке отрезвлялся от этого кошмара». В такие моменты он выводил Ольгу в «Мужиках», которая начинала с гневных филиппик, а кончала прощением. «Эти люди, — думала она, — живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, не трезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто расстрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджог, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания»[1].

Почти к аналогичным заключениям приходит Мисаил Полознев из «Моей жизни». «Я привыкал

---

[1] Современному читателю едва ли надо подчеркивать, что добрая Ольга валила в одну кучу и мужика-кулака, содержащего кабак или состоящего в земских гласных, и бедняка, у которого «ни кола, ни двора».

к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову, — которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне». И чтобы завершить наконец картину пороков, напомним, что у Чехова часто — наряду с пьянством — дикий разврат. В «Бабах» Варвара гуляет с поповичами, в «Мужиках» Фекла — с приказчиками, «В овраге» Анисья—с купчиками и т. д. и т. д.

4

Из всего предыдущего изложения читатель убедился, до какой степени точно и верно отражал художник Чехов современную ему Русь-матушку со всеми ее общественно-экономическими отношениями. Но картина, о которой мы говорили выше, была картиной статической. Возникает очень важный вопрос, улавливал ли Чехов, что Россия не стоит все же на месте и движется, а затем, куда же, по его мнению, движется великая страна и какова, стало быть, динамическая ее картина?

Сравнительно-историческое изучение революционных движений дает возможность констатировать тот факт, что во всякой стране победное шествие капитализма вызывает протест со стороны

разоряемых капитализмом масс мелких самостоятельных товаропроизводителей. Эти массы хотели бы не дать развиться «язве пролетариатства», «задушить», как говорили наши народовольцы, «буржуазию в самом зародыше».

Эти массы предлагали — в общем и целом — три типа тактики в борьбе с капитализмом. Левое крыло выдвигало идею захвата революционным путем политической власти, чтобы затем преодолеть, опираясь на нее, засилье буржуазии методом насаждения и поддержки производительных ассоциаций. Центральное крыло находило, что можно обойтись без революции, а производительные ассоциации создавать и развивать на базе самодеятельности и самопомощи, и наконец правое крыло, не веря ни в революцию, ни во взаимопомощь, уповало на то, что производительные ассоциации или даже простое восстановление индивидуальных хозяйств разоренного товаропроизводителя будут поддержаны умом, совестью, капиталами господствующих классов и правительств [1].

И в России мы видим все эти три течения. В эпоху Чехова левое крыло было представлено народовольчеством, центр — мирным анархизмом Толстого, правое крыло — пресловутой абрамовщиной, гайдебуровщиной и др. аналогичными течениями.

Каково было отношение Чехова к любому из этих течений, ставивших себе целью, несмотря на различие путей, спасение крестьянства от гибели под колесами капитализма, и нашли ли они отражение себе в творчестве Чехова?

Относительно народовольчества можно определенно сказать, что Чехов никогда не наделял его своими симпатиями, да, повидимому, и не понимал

---

[1] Подробнее об этом говорится в напечатанной выше статье о Максиме Горьком.

его. Достаточно сказать, что террорист из «Рассказа неизвестного человека» взят Чеховым в тот момент, когда он уже «перестал быть революционером» (говоря словами Льва Тихомирова). Вспомним, что в литературной жизни Чехова мы имеем одну красноречивую дату: как раз тогда, когда в начале 80-х годов все, что осталось еще честного в России, оплакивало жуткую картину расправы озверевшего царизма с народовольцами, путем казней или заточения навеки в каменные мешки, как раз в это время Чехов стал... «смеяться» в бульварных юмористических листках, ради развлечения самого заскорузлого читателя. Правда, в вышеупомянутом рассказе женщина, которой открыли глаза ее личные страдания, воскликнула однажды совсем в духе народовольцев: «Смысл жизни только в одном — в борьбе! Наступить каблуком на подлую змеиную голову, и чтобы она — крак!» Но из этого ничего не вышло: она отравилась, даже не начав борьбы.

Но будучи в стороне от настроений и идей «левого крыла», Чехов вряд ли когда-либо сочувствовал и «правому крылу» — полулибералам, полународникам типа писателей «Недели» и т. п. В «Жене» (1892 г.) читаем такие строки, хотя и сказанные не от лица автора, но по всем соображениям, им разделяемые: «Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет убеждаются, что они н и ч е г о не могут сделать, и все-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мерзлым картофелем».

В «Доме с мезонином» (1896 г.) один из героев рассказа заявляет: «по-моему медицинские пункты, школы, библиотеки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья».

Как же относился Чехов к «центральному крылу», к толстовству? В одном из писем к Суворину

в 1894 г. он сказал: «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет шесть-семь». Получило ли это увлечение какое-нибудь отражение в творчестве Чехова?

Обычно считают, что повесть «Моя жизнь» была данью толстовству. Евгеньев-Максимов оспаривает это положение, находя, что программа героев этой вещи не толстовская, а культурническая, в духе «Недели». На наш взгляд истина — посередине. Чехов недостаточно точно разбирался в обоих течениях и bona fide приписывал одному то, что характерно для другого, и наоборот. Но все же в повести звучат ясные нотки толстовства. Когда Мисаил говорит отцу, что «надо быть справедливым, физический труд несут миллионы людей», — это от Толстого. Когда Маша Должикова заявляет: «Каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить», — то это, конечно, не от культурничества, и если не от самого Толстого, то во всяком случае от толстовцев. Когда Полознев-сын говорит: «прогресс в делах любви, в исполнении нравственного закона», — то это от Толстого и т. д. и т. п.

Если взять Ольгу из «Мужиков» и Липу из повести «В овраге», нужно признать, что их настроения всепрощения, полное отсутствие «насилия против зла» — говорят за то, что их образы навеяны Толстым, хотя к тому времени Чехов уже освободился от его влияния.

К какому же итогу мы приходим? Азиатские формы капитализма справляют свою дикую оргию; народ стонет под их ярмом. Чехов ясно видит царящее зло и в то же время не соединяет своей судьбы ни с одним из описанных выше крыльев мелких товаропроизводителей.

Но может быть он с теми, кто ставил ставку на высшие формы капитализма, как на такой строй, который порождает своего могильщика в лице пролетариата, естественного вождя многомиллионных масс обнищавшего мелкого товаропроизводителя?

На этот вопрос надо ответить решительным «нет». В пьесах Чехова совсем не нашла отражения эта сторона действительности. Мы еще увидим, что Чехов ясно понимал прогрессивное значение «высших форм капитализма», но отнюдь не видел его в том, что они создают сознательный пролетариат. Но если человек видит зло и считает его таковым, а в то же время не борется с ним ни одним из имеющихся в наличности путей, то ведь это означает глубокую безысходность. Таковой ли была действительность в глазах Чехова?

Мы думаем, что в литературной деятельности Чехова было в сущности два этапа: первый — когда он, хотя и надеялся, что избавление придет, но полагал, что оно придет через очень и очень большой срок, и второй — когда он увидел и поверил, что сроки волей судеб весьма и весьма сокращаются...

На первом этапе — его, так сказать, программа-максимум была ясна: Чехов отчетливо понимал, что только высшие формы капитализма положат конец азиатским формам, которые являются не чем иным, как ненавистным ему «мещанством» [1], в котором погрязала Россия.

Ниже мы приведем цитаты, которые докажут правильность нашего утверждения о ставке Чехо-

[1] В «Моей жизни» он, если не ошибаемся, впервые употребляет слово «мещанство». Описавши в каком скотском положении были все слои городского общества, Полознев-сын добавляет: «лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой (ниже мы еще вернемся к этому «тургеневскому» мотиву. — Ив. Т.); у большинства из них были высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни и, выйдя замуж, скоро старились, опускались

ва на высшие формы капитализма. А пока посмотрим, как выглядела на первом этапе развития Чехова его программа-минимум. Что же делать теперь, на протяжении ближайших десятилетий, раз избавление придет лишь через двести-триста, даже (по Астрову) через тысячу лет?.. На этот вопрос мы получаем и от героев Чехова, и от него самого очень неутешительные ответы. Вот в «Рассказе неизвестного человека» между ним и Зинаидой Федоровной происходит такой диалог:

— Что мне тут делать, и что я буду делать?

— Что делать?— сказал я, пожав плечами.— На этот вопрос нельзя ответить сразу.

— Я вас спрашиваю, что я должна здесь делать? И не только здесь в Ницце, но вообще?

И наш герой должен был «сознаться в своем банкротстве».

В «Случае из практики» между Королевым и Лизой идет такой разговор:

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда? Да куда угодно, — сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Как видим, и здесь нет ответа. Вершинин из «Трех сестер»» отделывается самыми общими фразами: «Как бы мне хотелось доказать вам, что

и безнадежно тонули в тине пошлого мещанского существования». Здесь совершенно правильно Чехов поставил знак равенства между термином «мещанство» и термином «азиатские формы капитализма». Насколько в этом отношении Чехов стоял впереди целого ряда наших мыслителей, показывает пример хотя бы Герцена; ведь написал уже последний такие слова: «русские имеют в себе очень мало мещанских элементов» (Сочинения, т. XIV, стр. 509).

счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать».

Как работать, в каком направлении, — остается без ответа. Но Вершинин все же верит, что «счастье это удел наших далеких потомков». А вот Тузенбах, напротив, думает, что «не то, что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была»...

В «Огнях» рассказчик заключает свои беседы на интересующую нас тему словами: «Я не увозил с собою ни одного решенного вопроса... Да, ничего не поймешь на этом свете».

В «Моей жизни» доктор Благово, определенный будущий «кадет», восклицает в пику «народнику» Полозневу: «Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду».

Сам Чехов в письмах к А. Н. Плещееву от конца 80-х гг. писал: «Цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма — мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем». Яснее ясного! Я ненавижу азиатчину, ненавижу мещанство, но в чем «норма», чем их заменить — не знаю...

Еще резче ту же мысль он высказал в письме к И. Л. Щеглову: «Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны». Короленко так характеризует нам Чехова этого этапа: «Человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой... при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом», т. е. человеком, совсем неуверенным, придет ли «избавление».

Итак, в программе-максимум этого чеховского этапа ставка на далекие-далекие, но все-таки высшие европейские формы капитализма; в программе-минимум — ничего определенного, ничего ясного. Мы и рассмотрим, какими же надеждами на иную действительность жил Чехов, а затем, что же он предлагал все-таки делать, чтоб, если уж не бороться с окаянной действительностью, все-таки стучавшейся своими грязными пальцами в окна его кабинета, то хоть забыть ее...

В «Огнях» инженер Ананьев отчетливо рисует «программу-максимум»: «В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация. И как все это хорошо, ей-богу. Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?» К слову сказать, можно было бы, подумать, что Чехов был знаком с теорией проф. А. И. Скворцова о влиянии парового транспорта, но «Огни» написаны раньше выхода в свет скворцовской книги.

С Ананьевым совершенно согласен доктор Астров, очень напоминающий нам реального доктора Шингарева, возмущавшегося «вырождающейся деревней», а лечить болезнь предлагавшего кадетской либеральной программой; так вот Астров говорит: «Если б на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги [1], если б тут были заводы, фабрики, школы, — народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного. В уезде те же

[1] Пусть читатель вспомнит, что «печенег» Жмухин находил, что «телефоны, телеграфы, велосипеды — не нужны».

болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Разрушено почти все, но взамен не создано еще ничего».

Трудно ярче формулировать и протест против азиатских форм капитализма, и мечты о так называемом «упорядоченном капитализме», о высших формах капитализма. Та же мечта об упорядоченном капитализме совершенно ясно вскрывается следующим негативным, так сказать, приемом. В предсмертной Чеховской пьесе «Вишневый сад» (1903 г.) Трофимов говорит: «Человечество идет вперед. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать... У нас в России работают пока очень немногие... Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты» (стало быть, пусть профессия «прислуги» остается, только говорите ей «вы». Ив. Т.), с мужиками обращаются как с животными (стало быть — пусть категория «мужика» продолжает существовать, но считайте его равноправным гражданином. Ив. Т.), учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало... Большинство из нас, девяносто девять из ста, живут, как дикари, чуть что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... Где у нас ясли? Где читальни?.. Есть только, грязь пошлость, азиатчина».

В «Моей жизни», написанной чуть ли не за десять лет до «Вишневого сада», находим те же моменты, которые надо устранить: «богатые и интеллигенты спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно-грязных помещениях, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями (стало быть — «слуги» останутся и в

новом строе, но будут жить немного иначе. Ив. Т.). Ели невкусно, пили нездоровую воду». Насколько оформились раз навсегда мечты Чехова видно из того, что мы имеем совпадение слово в слово, почти буква в букву, реплик Трофимова и Полознева.

Читатель, таким образом, видит, что мечты Чехова — довольно мизерные, совершенно буржуазные, типично-либеральные, астровско-шингаревские. Теперь нам понятно, почему не лежала душа Чехова ни к одному из крыльев мелкого товаропроизводителя, боровшихся за крестьянство, а тем более к идеологам рабочего класса. Социалист понимал, что «американский» тип развития капитализма выше «прусского» (термины Ленина), но, прежде всего и главнее всего потому, что первый тип вносит большую классовую ясность в сознание пролетария и делает более упорной его борьбу. Для либерально-настроенного Чехова высшие формы капитализма были дороги только потому, что они могли покончить с азиатчиной, и, совершив этот подвиг, законсервироваться на многие, многие столетия, а может быть и навсегда.

Но ведь упорядоченный капитализм придет через «сто», «двести», «триста», «тысячу» лет. Как же сейчас? Что делать перед лицом торжествующего «печенегства?» Мы здесь можем на этот вопрос ответить только самым кратким образом. Пусть читатель вспомнит три главнейших пьесы Чехова: «Дядю Ваню», «Три сестры», «Вишневый сад». Пусть он вспомнит, что во всех этих пьесах господствует авторская ремарка «сквозь слезы». Чуть ли не все персонажи говорят «сквозь слезы». А что они говорят? Почти все они твердят одно и то же: «Будем работать, надо работать, работать, работать».

Как работать? Будем честно выполнять свою профессию! Будем честными ветеринарами, врача-

ми, офицерами, агрономами, инженерами и т. д. и т. д. Будем работать и плакать, так как мы в плену у гнусной действительности, и будем мечтать, что через «двести», «триста лет» и т. д. люди будут счастливы... в упорядоченном капиталистическом обществе. И если какая-нибудь, Ирина скажет: я не хочу «труда без поэзии, без мыслей», то Чехов грустно заметит ей, что есть выход: это выход в искусство [1], в красоту жизни, в науку... Ведь ушла же в певицы от «печенегов» Марья Викторовна Должикова-Полознева. Ведь толкует же о «науке» и «искусстве» Трофимов.

Очень часто гнусная действительность порождает романтизм: романтизм справа зовет назад, романтизм слева — вперед. Изнемогая в тисках «азиатчины», Чехов временами спасался в «романтизм справа»; вот почему он, видевший по-гоголевски, что Русь — это Русь Собакевичей, Ноздревых, Маниловых и Коробочек, вдруг — по-тургеневски находил в ней Лиз и Елен... Правда, про одну из таких «чудных женщин» он устами Астрова сказал: «У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие. Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою», тем не менее, нельзя отрицать, что наш художник питает чувство большой симпатии, напр., к Раневской из «Вишневого сада», которая, вероятно, начала свою жизнь подлинной Лизой, а кончила «порочно». Но от Жмухиных и Цыбукиных, от Пятигоровых и Рашевичей, если не знать дороги к рабочему классу, можно убежать и... к Раневской. Этот «романтизм справа» у Чехова очень смутил критика Корнея Чуковского, который совсем не понял его корней и

[1] Этот момент сблизил Чехова с так называемыми «модернистами» 90-х гг. В «Чайке» Чехов ясно показал, что его симпатии не на стороне реалиста Тригорина, а на стороне Треплева, декадента-символиста. И вообще импрессионистский неореализм Чехова многими точками соприкасается с модернизмом.

смысла, и наговорил много глупостей насчет любви Чехова к иррациональному.

При таком отношении к действительности на этом этапе развития Чехова ему нечего было сказать мужику! Ведь не мог же он звать его ни к Раневской, ни к красоте, ни к науке... Он только констатировал его «невежество».

Под самый конец жизни у Чехова создалось уже значительно иное настроение. Мы скажем о нем цитатой из воспоминаний С. Я. Елпатьевского: «И расспрашивал он не о литераторах и не о свежих литературных новостях, которыми всегда преимущественно интересовался, — а о том, что говорилось и чувствовалось на пироговском с'езде врачей, о том, что делается в союзе «Освобождение» (из которого потом образовалась партия кадетов. Ив. Т.), какое настроение в передовых общественных кругах Москвы и Петербурга, когда и как ждут падения старого строя... И когда сам он рассказывал, не то и не так говорил, как говорил раньше... Не так читал газеты, как раньше, и другое искал в них, — не проявления скуки, хмурости и сумеречности русской жизни, а факты под'ема и роста оппозиционного настроения в России. И про «мужиков» не по-прежнему говорил».

Все, что мы знаем про Чехова, заставляет нас быть уверенным, что С. Я. Елпатьевский ничего не спутал. Не о рабочих, а о «передовых общественных кругах»; не о Р. С. Д. Р. П., а об «Освобождении»; не о революционном движении, а об «оппозиционном настроении» должен был говорить и думать Чехов [1]. Для нас важно то, что он почув-

---

[1] Еще раз напомним слова Чехова: «Ни исправника, ни марксистов». Читатель теперь понимает, что в этих словах перед нами абсолютно законченная, совершенно точно формулированная либеральная программа. В ней — весь Чехов.

ствовал, что «падение старого строя» — залог пришествия упорядоченного капитализма в более короткие сроки, чем он предполагал раньше. Что же он говорил о «мужиках»? Елпатьевский не передает, но мы имеем другое свидетельство. Г. Б. Иоллос рассказывает: «Проезжая через деревню (речь идет о пребывании Чехова за границей перед самой смертью, в 1904 г.), он любовался крестьянскими чистыми домами и вздыхал: «Когда же у нас так мужики будут жить?» Не больше.

Вот все, чего он желал мужику: жить в условиях европейских форм эксплоатации. Но здесь он жестоко ошибся. Луки, Осипы, Пантелеи, Яковы пошли за людьми, рисовавшими им совсем иные перспективы...

СОДЕРЖАНИЕ

Цена 40 коп.